

# ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ



АПОКАЛИПСИС  
ОТ КОБЫ

наґало

# Эдвард Станиславович Радзинский Иосиф Сталин. Начало

Серия «Апокалипсис от Кобы», книга 1  
Серия «Эдвард Радзинский. Лучшее»

*Текст предоставлен издательством «АСТ»*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=3356835](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3356835)*

*Эдвард Радзинский. Апокалипсис от Кобы. Иосиф Сталин. Начало:*

*Астрель; Москва; 2012*

*ISBN 978-5-271-42442-7, 978-5-271-42445-8*

## **Аннотация**

В основе книги Эдварда Радзинского, выход которой ждут уже несколько лет, лежит некая рукопись, полученная автором. Этот текст заново открывает нам затонувшую Атлантиду, страну по имени СССР, и ее самую таинственную и страшную фигуру – Иосифа Сталина.

*Книга также выходила под названием «Друг мой, враг мой...».*

# Содержание

Иосиф Сталин	8
Черная фотография	8
Мой отъезд	10
«Тот день» – 28 февраля. Утро	12
28 февраля. Последний вечер Кобы в Кремле	26
Прощание	27
28 февраля. Возвращение на Ближнюю дачу	29
После «той» ночи. Сны	31
Евреи	40
Рождение Кобы	47
Коба и власть	59
Ленин и кровь	62
«Сила бессильных»	76
Камо	79
Деньги партии	80
Задание партии	82
Убийство мецената	84
Битва за террор	91
Великое ограбление	96
Любовь и смерть	103
Тайна Кобы	112
Новый Коба	134
Толстяк посылает апостолов	138

Революция  
Конец ознакомительного фрагмента.

144

152

# Эдвард Радзинский

## Апокалипсис от Кобы.

### Иосиф Сталин. Начало

*Эту рукопись я получил в Париже в 1976 году.*

*Я жил тогда в маленьком отеле «Delavigne» в Латинском квартале. Приехал я на премьеру своей пьесы и перед началом дал интервью парижской газете. На следующий день консьерж вручил мне тяжелый конверт... В нем была машинописная рукопись на русском языке и письмо, написанное от руки неровным почерком.*

«Соотечественник!

Прочитал ваше интервью в «Монд». Узнал, что вы решили (точнее – решились) написать биографию «первого большевистского царя Иосифа Сталина». Так вы назвали моего дорогого друга Кобу.

Я стар. Я стремительно гасну, дней моих на земле осталось немного. И все, записанное мною на протяжении десятилетий... небывалых десятилетий! – попросту исчезнет в чужом городе. Я решил поторопиться. Приходится торопиться. Я передаю рукопись вам. Я писал ее *тогда и теперь*. Тогда, в стране по имени СССР, записывал подробно и, не скрою, витиевато. (Я ведь, как многие в революционные годы, баловался литературой, даже роман писать собирался. Оттого и жилище в Париже выбирал

литературное – живу здесь, в Латинском квартале, где меня, старого революционера, окружают такие родные, понятные тени. На мой дом глядят окна квартиры отца Революции Камиля Демулена. И отец гильотины, немец Шмидт, жил неподалеку. В двух шагах отсюда Бомарше сочинял своего Фигаро. Над его наглými шутками, раздевавшими аристократов, хохотали до упаду сами аристократы. А вскоре такие же Фигаро погнали на гильотину всю эту веселившуюся сволочь. Запомните: самые грозные идеи приходят в мир веселой, танцующей походкой. Родной нашей грузинской лезгинкой часто приходят они в мир.)

Я заканчивал писать свои Записки здесь, за границей, и, к сожалению, кратко. Дрожит рука (Паркинсон). Дрожит жалкая рука, которая так ловко убивала.

Я не надеюсь, что эти Записки помогут вам понять «нашего Кобу» – как звали товарища Сталина мы, его старые, верные друзья. Разве можно понять такого человека? Да и человек ли он?

Но смерть Кобы понять помогут. О ней написано много всякого вздора. Коба ненавидел Троцкого, но ценил его мысли. Были у Троцкого слова, рядом с которыми Коба поставил три восклицательных знака: «Мы уйдем, но на прощанье так хлопнем дверью, что мир содрогнется.» Эти слова имеют прямое отношение к жизни Кобы, но еще больше – к его смерти.

В своем интервью вы сообщили, что хотите поговорить с охранниками Кобы, которые были с ним

на даче *в ту ночь*. В ту судьбоносную ночь, когда *все случилось!* Пустое занятие! Они ничего не знают. Из ныне живущих *знаю только я*, его безутешный друг Фудзи, не перестающий думать о нем.

И Коба по-прежнему рядом с Фудзи. Такие, как Коба, не уходят. Он лишь на время схоронился в тени Истории. И поверьте – Хозяин, как справедливо звала страна «нашего Кобу», вернется в свою Империю. Впрочем, все это предсказал он сам, мой незабвенный друг Коба.

Мой заклятый враг Коба.

Он часто приходит ко мне по ночам, как только я засыпаю. И я чувствую его запах – старческий запах пота от поношенного кителя генералиссимуса».

*Подписи не было.*

*Далее шла рукопись.*

*Привожу ее безо всякого изменения с эпиграфами, которые были на отдельной странице.*

# Иосиф Сталин

## Воспоминания о моем друге Кобе

*«С 1917 года история России стала Историей большевистской партии. Всего через десять лет История России стала биографией Сталина».*

*«После его смерти ходило много слухов о его двойниках. Никаких двойников у него не было. Но причина слухов была».*

### Черная фотография

1

У нас была общая фотография. На ней – Коба, я и наши друзья: Алеша Сванидзе, Амель Енукидзе, Камо Тер-Петросян, Нестор Лакоба, братья Серго и Папулия Орджоникидзе... Мы стоим, положив руки на плечи друг другу. Стоим одной шеренгой – друзья-грузины перед удалой пляской.

Когда он начал нас уничтожать, он не убрал ее в стол. Он только аккуратно замазывал черной краской тех, кого отправлял в лагерь или (чаще) в могилу. В конце концов на фотографии остался он один. Он стоял, положив руки на невидимые плечи исчезнувших друзей.

---

<sup>1</sup> Разбивка на главы, названия глав и выделения курсивом – Э. Р.

Окруженный чернотой, за которой прятались мы.

Почему он оставил ее на столе? Это знаю только я. Потому что лишь я знал настоящего Кобу. Барса Революции. Убийцу Революции. Знал лучше, чем знал себя он сам. Потому я и живой – единственный из его друзей.

Но вас интересует конец Кобы. Страшный и жалкий, как почти все тайны.

Я устал охранять его смерть. Я ведь не просто стар. Я неправдоподобно стар, но все еще живу. Иногда мне кажется, что это он, Коба, держит меня здесь, чтобы я рассказал... Иначе не отпустит. Он и *оттуда* распоряжается мною.

# Мой отъезд

Улетел я из СССР 4 марта 1953 года. В тот день в шесть утра вся страна услышала голос диктора Левитана, так соединившийся в нашем сознании с величественным обликом Кобы. Торжественный, великолепный голос впервые сообщил о его болезни. Страна завалила письмами газеты. Люди предлагали свою кровь, свою жизнь, лишь бы спасти его. Заседала Академия медицинских наук – разрабатывала тактику его лечения.

Мне ни к чему было все это слушать. За три дня до того, в ночь на 1 марта, я уже узнал, что жизнь Кобы закончилась... И что там, на Ближней даче, лежит умирающее, беспомощное тело...

А я остался жить. Живой осел, покорное вьючное животное, которое лучше мертвого льва. Это повторено миллион миллионов раз, чтобы утешить нас, жалких ослов. Но все-таки я побывал на вершинах, куда вход доступен лишь небожителям. Благодаря Кобе. Моему заклтому врагу Кобе. Моему нежному другу Кобе.

Итак, 4 марта днем я сел в самолет, летевший в Рим. *Мне нельзя было медлить.* Я ехал на аэродром, когда на солнечной мартовской улице из всех репродукторов все тот же голос Левитана с торжественной скорбью читал очередной бюллетень о состоянии здоровья Кобы – о температуре, пуль-

се, давлении, количестве лейкоцитов в его крови. Будто у него была такая же кровь, как у всех.

Он умер на следующий день в девять часов пятьдесят минут.

В это время я уже находился в Риме, на старой явочной квартире. Квартира была на последнем этаже. Говорят, этот дом в XVII веке построила куртизанка Фьяметта. Раньше я не замечал, что здесь нет лифта. Теперь же с трудом поднялся по мраморной лестнице. Но я был жив, а Коба – мертв. Я сидел у окна, смотрел на площадь Навона, на знаменитый фонтан... Был март, но уже становилось жарко, и я задернул шторы. Я плакал. Ведь умер мой друг. «Легче перенести смерть брата, чем смерть друга» – такая у нас, у грузин, есть пословица.

Я и потом плакал, когда вспоминал его последний день – 28 февраля... Точнее, последний день, когда он был всемогущим Кобой, страшным Кобой, барсом Революции.

Но в СССР я уже не вернулся.

И тогда же, в Риме, по свежим следам я описал *тот день*, 28 февраля 1953 года...

*И день последующий.*

## «Тот день» – 28 февраля. Утро

Утром двадцать восьмого, в последний день февраля, я должен был приехать к нему на Ближнюю дачу.

Страна тогда верила, что Коба живет и работает в Кремле. Всю ночь до рассвета над кремлевской стеной светилося окно. Учителя вечерами приводили школьников на Красную площадь показывать негасимое окно, чтобы знали: их отцы после работы отдыхают, но отец страны неутомимо трудится в заботах о нас всех. На самом деле по примеру Романовых, живших в Царском Селе, Коба жил за городом – на даче, всего в тридцати километрах от Кремля (за это ее и называли Ближней).

Пылкий армянин архитектор Мирон Мержанов построил для Кобы эту прелестную дачку со множеством веранд. Ближняя много раз перестраивалась под диктовку Кобы. Но сам архитектор за перестройками наблюдать не мог. Опасно вплотную приближаться к моему другу Кобе. Смерти подобно. Я заплатил пятью годами лагерей. Следует добавить – «всего». Бедный архитектор – многими годами заключения. Следует и здесь добавить – «всего». Потому что полагалось платить жизнью. Другую плату от близких людей Коба принимал редко.

На этой веселенькой, зелененькой Ближней даче и поселился Коба после смерти жены. С 1932 года в Кремле оста-

вался только его кабинет, где он работал до вечера. В своей кремлевской квартире он теперь редко ночевал, жизнь его отныне протекала на даче.

Каждый вечер несколько одинаковых черных ЗИСов выезжали из Спасских ворот Кремля и на бешеной скорости, меняясь друг с другом местами, неслись к Ближней. Весь маршрут объявлялся на военном положении. Дорогу охраняли автомобильные патрули и три с лишним тысячи сотрудников Госбезопасности. Шоссе шло мимо рощи. В самой роще, между деревьями, на подъезде к даче и вдоль бесконечного ее забора, стояли все те же сотрудники КГБ («чекисты», как по старинке называл их Коба).

Дом окружал большой кусок светлого подмосковного леса с березками, осинками, высокими соснами и елями. Через весь этот лесок были проложены асфальтовые дорожки, поставлено множество фонарей. Здесь, у фонарей, «чекисты» и прятались.

На участке был вырыт неглубокий пруд с купальней, хотя Коба никогда не купался в нем. И вокруг пруда, среди деревьев, тоже хоронились бдительные «чекисты». Если охранник неумело прятался и Коба на него натыкался, он бил того сапогом.

Внутри дачи дежурили всего несколько самых проверенных «чекистов». Официально они именовались «сотрудники для поручений при И. В. Сталине». В разговорах между собой они называли дачу «Объектом», а себя – «прикреп-

ленными к Объекту». Жили «прикрепленные» в особой пристройке. Там ночевал часто и я, когда оставался на Ближней. Эта пристройка соединялась с дачей дверью. Я назвал бы ее *Священной Дверью*. Открывать ее «прикрепленные» имели право *только по звонку* Кобы. Дверь эта вела в его апартаменты – в двадцатипятиметровый коридор, обшитый деревянными панелями. По обеим сторонам коридора располагались комнаты Кобы. Довольно скромное жилище для повелителя трети земного шара. (Мы, дети Революции, презирали жалкую буржуазную роскошь.)

Я все это подробно рассказываю, иначе не понять, что же случилось в *тот день* 28 февраля и в *ту ночь* – с 28 февраля на 1 марта.

Ночь, оставшуюся навсегда со мной.

Накануне я лег спать рано – ведь наступал главный день моей жизни. Но уже *в пятом часу утра* меня разбудил звонок Кобы (это его обычный звонок, в пятом часу утра он, как правило, ложился спать после ухода «гостей»).

Коба сказал, что стало плохо работать «устройство» и чтоб я приехал проверить его к десяти утра.

Прослушивающее устройство было установлено во всех комнатах Ближней дачи, в Кремле и в квартирах членов Политбюро. Это небывалое по тем временам чудо техники создали летом 1952 года (об этом я еще расскажу подробнее).

С 1952 года Коба, не выходя с дачи, мог прослушивать все ее помещения, Кремль и квартиры членов Политбюро.

В последний февральский день было холодно и очень солнечно.

Снег еще не стаял – лежал в саду. Я *приехал на дачу к десяти* и сидел на кухне вместе с «прикрепленными». Мы все ждали звонка – вызова от Кобы. Наружная охрана сообщала, в комнатах «нет движения». На языке охраны это означало, что Коба спит. Причем «наружка» (охранники перед дачей) не знала, где именно он спит, в какой комнате постелила ему на ночь постель Валечка. Это тоже являлось государственной тайной.

Лишь «прикрепленные» (охрана внутри) имели право знать, где проводил ночь мой таинственный друг.

И сейчас «наружка» неотрывно глядела на окна.

Просыпаясь, он обычно сам отодвигал в комнате шторы. Только тогда «наружка» понимала, в какой комнате он спал, и немедленно сообщала о его пробуждении «прикрепленным».

Но я-то не сомневался, что Коба давно проснулся. И притворяется спящим – не отодвигает шторы, а внимательно слушает «устройство».

И также я знал: притворяется он в последний раз.

Итак, я сидел на кухне, облицованной белым кафелем, похожей на больницу, и пил чай с «прикрепленными». Здесь же был вызванный Кобой начальник охраны Берии Саркисов. Он любезничал с поварихой, рассказывал неприличные анекдоты.

- Ну какой вы! – говорила повариха, кокетливо хихикая.
- Ну какой я? – раздевал ее глазами Саркисов.
- Знойный мужчина! – играла глазками повариха...

Наконец-то! *Около одиннадцати* «наружка» позвонила: «В Малой столовой есть движение!» Это означало: Коба раздвинул шторы в комнате, именовавшейся Малой столовой.

Из всех комнат дачи он обычно выбирал одну и начинал в ней жить – есть, работать и спать. И уже не выходил из этой комнаты. Сюда переключались все телефонные звонки. Комнатка становилась столицей великой Империи, треть человечества управлялась из нее.

В тот последний его день таким местом оказалась Малая столовая.

Так она называлась в отличие от Большой столовой – огромной залы, где происходили его встречи с соратниками из Политбюро. Встречи, превращенные в ночные застолья.

«Гости» (так он именовал членов Политбюро) съезжались к полуночи. И начиналось веселье – ели, пили... Сам он пил мало, но щедро предлагал пить «гостям», и они не смели отказываться. Отказ означал: боится – вино развяжет язык. Значит...

Застолье сопровождалось обязательным весельем подвыпивших «гостей» – рассказывали анекдоты (матерные) и много шутили. Самая популярная и старая шутка – подложить помидор под зад, когда жертва встает произнести тост. Коба милостиво смеялся, а «гость», раздавивший задницей

помидор, был счастлив: шутит, смеется – значит, не гневается! Застолье заканчивалось обычно в пятом часу утра, и он разрешал обессиленным шутам отправляться спать.

Но в последний год жизни Кобы многолюдные собрания на даче закончились. Исчезли частые прежде гости Большой столовой – члены Политбюро Вознесенский и Кузнецов, они теперь лежали в могиле номер один в Донском монастыре, в «могиле невостребованных прахов», куда сбрасывали сожженные тела расстрелянных кремлевских «бойяр». Уже не звал Коба на дачу старую гвардию – Микояна, Молотова и Кагановича...

Теперь он приглашал сюда лишь четверых: Берию, Хрущева, Маленкова и Булганина. Они – его постоянные гости.

Но я знал: скоро перестанет звать и их. Знали об этом, конечно, и они...

Обычно после отъезда шутов из Политбюро Коба не сразу ложился спать. Работал или разговаривал с полуграмотными «прикрепленными». Рассказывал удалые случаи времен своих ссылок, по-старчески привирая. Если на даче был я, после ухода гостей запрягали лошадь. И мы с ним в коляске ездили кругами по саду Ближней дачи. Или немного работали в нем. Он любил хорошо ухоженный сад, как все мы, грузинские старики. Но сажать цветы не любил, Коба вообще ненавидел физический труд. Единственное, что ему нравилось, – срезать секатором головки цветов.

– Старик... Жалко его, – сказал мне как-то один из охран-

ников.

Если бы они знали, что задумал тогда «старик»...

Правда, никакого старика и не было. Был друг мой Коба, старый барс Революции, приготовившийся к невиданному прыжку.

Мир жил в ожидании Апокалипсиса. Но об этом – позже.

На кухне наконец-то раздался звонок из его комнат – сигнал нести ему чай. Обычно чай по утрам приносил комендант дачи Орлов. Но Орлов (он накануне вернулся из отпуска) сообщил, что простудился. Коба, панически боявшийся заразы, запретил ему появляться. Чай понес помощник коменданта, невысокий, плечистый Лозгачев (маленький ростом Коба любил невысоких людей).

Помню, перед тем как идти, Лозгачев перекрестился. Это делали все «прикрепленные», прежде чем отправиться в самое страшное путешествие – к *нему*.

Я слышал, как, уходя, Лозгачев приказал поварихе: «Яичницу для Хозяина».

Он открыл Священную Дверь в *его* коридор и пошел, старательно громыхая сапогами. Коба не терпел, когда входили тихо. Как он говорил – «крадучись». Его удивительный слух начал сдавать, и «прикрепленным» приходилось топтать с особенной силой.

Минут через десять Лозгачев вернулся и передал мне приказ Кобы «идти к нему». А главе охраны Берии Саркисову – «приготовиться к вызову».

Я вошел в Малую столовую, но она оказалась пустой.

Это была самая уютная комната его дачи. В углу потрескивали дрова в камине. На «турецком диване» валялась ночная рубашка. В центре стоял обеденный стол, как обычно заваленный бумагами. На этом столе, отодвинув их, он ел. И сейчас здесь находились самовар, остатки завтрака...

Я прошел мимо круглого столика с телефонами власти (прямой – с Госбезопасностью, другой – с двузначными номерами членов Политбюро и знаменитая «вертушка» – телефон правительственной связи) и вышел на веранду, соединявшуюся с Малой столовой...

Как я и предполагал, Коба давно проснулся. И сейчас, позавтракав, перешел из Малой столовой на веранду, освещенную холодным зимним солнцем. Он лежал на диванчике в кителе генералиссимуса и пижамных брюках. В последние годы ему нравилось носить военную форму. Мундир сглаживает старость. Украшает ее без того, чтобы сделать человека смешным, как это бывает с разряженными стариками. Он лежал, прикрыв лицо фуражкой, чтоб солнечный свет не бил в глаза. (Впрочем, какое в Москве солнце! Настоящее солнце – на нашей маленькой родине.)

На столике стояли бутылка нарзана и стакан с недопитой водой.

Коба лежал и слушал. Громко работало «устройство». Была включена «прослушка» квартиры Берии – столовой. Там, видно, тоже завтракали. Женский голос спросил по-грузин-

ски о каких-то покупках. Берия ответил по-русски, что все купили. Потом – тишина, только громкое чавканье. Берия всегда шумно ел...

Увидев меня, Коба приподнялся на диванчике, сунул ноги в залатанные валенки (у него последнее время сильно опухали ноги).

– Сколько ни слушаю – ни хера! Знает говнюк мингрел... Наверняка, знает... Включи Хруща. У меня что-то плохо получается.

Я включил квартиру Хрущева. Тот, хохоча, рассказывал непристойный анекдот.

– И этот шут наверняка знает! – сказал Коба и велел переключиться на квартиру Молотова.

Там молчали. Слышались шаги и кашель. Наконец раздался голос Молотова:

– Холодно на улице?

Ответил старушечий женский голос (очевидно, прислуга, жена Молотова Полина Жемчужина сидела в это время в тюрьме):

– Март на дворе. В марте, Вячеслав Михайлович, всегда зябко.

– Как говорится, «марток – надевай двое порток», – согласился Молотов, и опять молчание.

– И этот знает, мерзавец, – усмехнулся Коба.

Нет, они тогда и не догадывались об этом *новом*, неправдоподобном по тому времени «устройстве», способном слу-

шать *на расстоянии*. Но они отлично знали, что их прослушивают. До изобретения «устройства» их прослушивали аппаратурой, установленной в доме, где они жили. Через квартиру Маленкова (на четвертом этаже) прослушивался Хрущев (на пятом), Буденный прослушивался на третьем и так далее.

Эту старую «прослушку» ставил Берия и подчиненное ему Управление по специальной технике Министерства госбезопасности.

Летом 1952 года появилось новое «устройство», но ни Берия, ни Министерство Госбезопасности не были в курсе.

И Берия оплошал в первый же день работы «устройства». Страшновато оплошал. Но об этом позже...

– Работает, прямо скажу, хуево, – сказал Коба. – Вчера квартира Молотова пропала.

– Это нормально, – сказал я, – вчера был сильный ветер, оттого и помехи.

– А почему иногда оно само выключается? Слушаешь – и вдруг тишина!

– Да нет, Коба, ты опять не туда нажимаешь.

Все это время (с тех пор, как смонтировали «устройство») Коба периодически нажимал не на те кнопки и при этом очень злился. Он был туп в технике.

– Все равно – говно, – резюмировал Коба благодушно. Он пребывал в настроении, что с ним теперь случалось редко, только когда он был здоров.

Он выключил «устройство» и сказал:

– Вечером приезжай в Кремль. Кино будем смотреть. А ты переводить.

Оказалось, Павлов (его обычный переводчик) заболел. Лег в больницу и новый начальник его охраны полковник Новик. Я понял – *наши* старались. Все шло по плану.

– И «Записки» свои привези, – добавил Коба. – Сейчас давай пить чай. – Он позвонил на кухню.

Так что с дачи мне сразу уехать не удалось. А как хотелось! И побыстрее! Я знал его интуицию. Дьявол всегда шептал ему вовремя.

Лозгачев принес еще чаю и любимое Кобой айвовое варенье. Коба преспокойно начал пить чай, не догадываясь, что это его последнее утреннее чаепитие. Пил и я.

Но в этот раз Дьявол молчал. Прозорливый Коба ничего не почувствовал. Впрочем, это бывало не с ним одним. Я слышал, что Распутин, часто предсказывавший чужую смерть, в ночь своей гибели был весел, без сомнений сел в автомобиль вместе со своим убийцей и поехал погибать. Сбои бывают и у Дьявола. Точнее, наступает миг, когда он не властен.

Выпив чаю, он приказал мне снова включить «устройство». Теперь он захотел прослушать свою дачу. В пристройке, где жили «прикрепленные», шло препирательство.

– Нет, унесите их, – звучал голос Валечки. – Иосиф Виссарионович хочет ходить в старых!

Видно, охранник принес новенькие валенки.

Голос кастелянши Бутусовой:

– Но его, Валюша, совсем развалились.

– Ноги у него больные, потому и хочет в старых, – объяснила Валечка.

Коба помрачнел, постучал ложкой о блюде. Знал я, он сейчас думает: «Вот этого сообщать не следовало». Ничего о нем сообщать не следовало.

Валечка Истомина – старшая сестра-хозяйка, и не только. Она чистенькая, беленькая, хорошенькая. И всегда веселая, всегда в хорошем настроении. Ее привезли ему после смерти жены. Тогда ей было восемнадцать, теперь она приближалась к сорока. Старилась рядом с ним. Он редко говорил с ней. Она стелила постель. Ложилась в нее, когда он велел. И, должно быть, каменя от ужаса и почтения, отвечала на молчаливые ласки его короткого волосатого тела. И тотчас уходила *после...* Она часто плакала без причины, должно быть, от бабьей жалости к нему, одинокому старику. Тогда он молча вытирал ей слезы и строгим голосом гнал прочь.

Помню, в 1946 году, после того как он вернул меня из лагеря, Коба вновь позвал меня на Ближнюю дачу. Она пришла в Малую столовую, где мы с ним сидели, стелить ему постель. Он вдруг спросил ее:

– Люди рады победе?

– Рады! Ох, как же они рады! Все вас благодарят, Иосиф Виссарионович. Они ведь за вас умирали.

И он поцеловал ее. Впервые при мне. А может, вообще – впервые.

А она заплакала и смешно закивала.

– Иди, иди, – брезгливо сказал он.

Она торопливо ушла.

– Плачет, а почему – не поймешь, – сказал он хмуро.

Но возвращаюсь в последнее утро Кобы.

Когда он допил чай, *было одиннадцать тридцать*. На столе рядом с чайником я увидел книжку, которую он читал: Анатолий Франс «Последние страницы». Такое название меня порадовало. Он часто читал эту книгу теперь. Там был диалог, кажется, назывался «О Боге и Старости», весь исчерканный его пометами. Франс издевался над Богом. Коба радостно написал на полях: «Хи-хи!»

Он заметил мой взгляд.

– По-прежнему веришь? Знаю – веришь! Но если Он Всемогущий и Премудрый – зачем такая бессмыслица? В начале ты слишком молод, потом слишком стар, а между первым и вторым – ерунда, мгновенный промельк. Пора уходить, а ты не жил! «Кипит наша алая глупая кровь огнем неистраченных сил...» И сколько бы ни сделал, все пожрет смерть... Вчера нашел письмо Бухарчика. Он там цитирует... – Коба прочел по бумажке, видно, выписал: – «Жизнь – это... комедиант, паясничавший полчаса на сцене и тут же позабытый; это повесть, которую пересказал дурак: в ней много слов и страсти, нет лишь смысла...» – Он повторил: – «Нет

лишь смысла»... Не знал смысла и Бухарчик. Нет, если бы Бог был и был бы другой, *истинный* мир, зачеркивающий нашу жизнь в этом мире, было бы ужасно! Но если *там* ничего нет, это *еще ужаснее*... – И, опомнившись, он, как всегда, разозлился на свою откровенность: – Ладно, пошел на хуй!

(Забавно, в последнее время в разговорах со мной он часто вспоминал Бухарчика – так нежно называл Бухарина Ленин. И Коба теперь нередко говорил о нем – расстрелянном и опозоренном им Бухарине.)

Меня привезли домой в час дня. Когда я вошел в квартиру, жена побледнела:

– Что-то случилось?

– Нет, – ответил я. – *Еще* ничего не случилось.

Больше я ничего не сказал. И она, как положено хорошей грузинской жене, больше не спрашивала.

Поспал, в шесть проснулся. Надел чистое белье... Если что, к Господу следует являться в чистом, как учили нас с Кобой в семинарии.

Поел. В *восемь тридцать вечера* за мной пришла машина.

## 28 февраля. Последний вечер Кобы в Кремле

В девять вечера меня привезли в Кремль в просмотровый зал. Коба приехал с Ближней дачи чуть позже, сел рядом со мной. Берия – с другой стороны от него. Это был старый американский ковбойский фильм, захваченный в бункере Гитлера. Он шел на немецком, я добросовестно переводил.

Фильм закончился около одиннадцати. Коба обругал его, он был раздражен, видно, что-то заболело. Когда болело, он становился яростным, ненавидел всех.

После окончания картины вдруг развеселился (наверное, боль прошла). Посмотрел на меня, засмеялся:

– Ну и рожа... Старая, сморщенная. – Потом спросил: – А где же твои «Записки»? – (Я еще вернусь к моим «Запискам», которые не давали ему покоя.)

Я всплеснул руками:

– Забыл!

И Коба сказал *то, чего мы все так ждали*:

– «Записки» привезешь сегодня же на дачу, положишь в фельдъегерской рядом с почтой. И катись домой. Видеть тебя долго противно. Все думаю: неужели мы с тобой похожи?

Свершилось! Все происходило, как мы задумали! Я должен был радоваться. Но втайне я надеялся, что он НЕ прикажет мне приезжать на дачу... и тогда *дело* отложится.

# Прощание

*В четверть двенадцатого* он вышел из подъезда, окруженный охраной. Я – следом. Вдруг он остановился, долго смотрел на колокольню Ивана Великого. Заметил коменданту:

– Днем была туча воронья. Чтоб завтра – ни одной вороны. И тебя – вместе с ними. Пиши заявление. Не следишь за порядком.

Обычно он уезжал, не прощаясь со мной. Он уже давно держал меня вроде как за слугу. Но тут вдруг сказал:

– Прощай, Фудзи, – и сделал свой обычный приветственный жест рукой – то ли помахал, то ли отдал честь. Именно так он держал руку во время демонстраций.

Боже, как мне хотелось поцеловать его. Ведь обычно он целовал *перед*... В этот миг я понял, что даже поцелуй Иуды был всего лишь прощальным поцелуем Любви! Он, видно, почувствовал мою муку. И желтый огонь промелькнул в глазах. Он подозрительно посмотрел на меня. Но в моих глазах читалась только преданность верного слуги Вождю Кобе.

Далее все шло, как обычно: никто не знал, в какую из машин он сядет. Подойдя к выбранному автомобилю, он, как всегда яростно, отогнал от себя охранников. Это была одна из давних его игр: его охраняют вопреки его воле, а он, скромный человек, не хочет этого.

Он сел в машину.

И я тихо произнес:

– Прощай, Коба!

Черные машины выехали из Кремля. И, меняя друг друга, на бешеной скорости понеслись на Ближнюю дачу.

Как обычно, за ним отправились и постоянные ночные «гости» – Хрущев, Маленков, Берия и Булганин.

Я смотрел вслед уехавшим и боялся заплакать. Я старался вспомнить два своих ареста, лагерь, выбитые зубы, страдания моей несчастной семьи... Я хотел ненавидеть его, но не мог.

## 28 февраля. Возвращение на Ближнюю дачу

Около *половины двенадцатого* меня привезли домой. Я взял приготовленную рукопись «Записок» и поехал к Кобе на дачу.

Приехал туда *во втором часу ночи*, уже первого марта.

В вестибюле, оклеенном картами с пометками Кобы, на двух стоячих вешалках висела одежда. На одной – его маршальская шинель, подбитая, вопреки уставу, мехом, его штатская бекеша на лисьем меху, ушанка и армейская фуражка. На другой вешалке – шубы и ушанки «гостей».

Из Большой столовой неслись громкие голоса...

Я прошел в так называемую фельдъегерскую. Архитектор хотел сделать здесь библиотеку, но Коба оставил ее этакой «резервной» комнатой. Здесь стояли письменный стол и *огромный шкаф-гардероб*, где висели костюмы и мундиры Кобы, его любимые армейские фуражки. Сюда фельдъегери приносили почту из ЦК и оставляли ее на столе.

Я оглянулся и через вестибюль увидел открытую дверь в Малую столовую, а через нее – стол и на столе бутылку нарзана, приготовленную Валечкой на ночь. Я понял: сегодня он тоже будет ночевать в Малой столовой.

Но мне нужно было *начинать*.

Все, что произошло на Ближней даче той ночью, пропус-

каю.

## После «той» ночи. Сны

На следующий день – *первого марта* – я крепко спал.

В десять утра меня разбудила жена – звонил Берия. Он сказал: «Поезжай к нему на дачу. Охрану я предупредил. Коба велел тебе приехать *в два часа дня*». И засмеялся. Торжествуя, засмеялся, мерзавец.

Но я чувствовал: он волновался.

Я очень устал после *той ночи* и решил еще немного поспать.

Когда-то моя самая странная знакомая, безумная поэтесса, сказала: «Только засыпая, мы можем по-настоящему вернуться в прошлое. Это самая удобная тропа в темную обитель, где прячутся дорогие тени...»

И в лагере я учился ходить по этой тайной тропе. В вонючей летней духоте лагерного барака и в ледяном зимнем холоде сны о прошлом спасали меня. Сколько раз, безнадежно пытаясь согреться, я вспоминал раскаленный от солнца наш маленький городок.

И сейчас, засыпая, я увидел Кобу. Увидел его со спины... поникшей спины в маршальском мундире с подложенными ватой плечами. Увидел его сильно поредевшие совсем седые волосы...

Коба подошел к столу. Выдвинул ящик. И достал ту самую нашу с ним фотографию, на которой теперь оставался

он один, а мы, замазанные, будто прятались в черных мешках. Я вспомнил: в мешках вешали в царское время. В детстве мы с Кобой видели такую казнь.

Он ткнул пальцем в один из мешков и тихонечко засмеялся:

– В этом мешке – ты.

Да, там *должен был* быть я!

Потом мне начало казаться, что я – это он. Что это я лежу на полу, и надо мной, Кобой, кто-то наклонился. Я чувствовал боль, но не было сил открыть глаза. Я хотел крикнуть, но язык не слушался. Я видел ножку стола и чьи-то сапоги у щеки. «Прикрепленный» Лозгачев наклонился надо мной... и пропал. И я ясно услышал голос Кобы:

– Не мучайся, лежи тихонечко, Фудзи. Это детство... Мать моет тебя, больно прикрывая твои глаза, чтобы мыльная пена не попала. Но она попадает, жжет – слышишь свой крик?

И я проснулся в поту. Я лежал в темноте комнаты... И опять заснул.

Теперь мы были вдвоем с ним в том детском раю. Мы бежали по самой длинной улице нашего городка. Когда-то этот маленький городишко посетил кто-то из Романовых. Улицу называли Царской и потом конечно же переименовали (как тысячи тысяч главных улиц нашей бескрайней страны) в улицу имени товарища Сталина...

Шумно просыпается наш городок. В шесть утра во дво-

рах появляются пастухи, кричат – забирают коров. На балкончики, хранящие утреннюю свежесть, выходят заспанные люди. Отпираются двери храмов, на утреннюю службу спешат женщины в черных одеждах. Вон они идут – моя мать и Кэкэ, мать Кобы. Из-под черного платка видны светленькие, рыжеватые волосы Кэкэ; иссиня-черные волосы моей матери сливаются с ее платком.

Люди торопятся жить, пока не наступила жара. Но это добрая жара, по которой так тоскуют наши с Кобой опухшие, старческие ноги.

...Маленький Коба. Тогда его звали Сосело, по-грузински – «маленький Сосо»... Я и Сосело бежим на Куру – смотреть, как проносятся по бурной реке плоты. Мы стоим, провожая глазами удалых, хохочущих плотогонов. И Коба все просит, все кричит: «Плотогон, плотогон! Перевези нас на другой берег!» Но они только хохочут и несутся мимо.

Знакомый водовоз подъехал на лошаденке и, тоже смеясь, набирает воду в кожаные мешки. Как все веселы в нашем раю!

– Дай нам попить твоей живой водицы, водовоз, – просит Коба.

Но водовоз не оборачивается. И мы глядим, как жалкая тощая лошадка увозит живую водицу...

И я опять вижу: старый Коба лежит на полу в своей комнате.

...Мы оба учимся в церковном училище. В лучах захо-

дящего майского солнца двухэтажное здание – ослепительно-белое. Городская жара на улице и прохлада церкви. На втором этаже училища – наша церковь. В ней я впервые его увидел.

Та вечерняя служба. Мы оба – крошечные, облаченные в стихари, стоим на коленях, распевая молитву. Я слышу наши высокие детские голоса. Открыты золотые Царские врата, священник воздел руки к небу. Боже, как уносится ввысь душа! Какой восторг! Какая радость!

– Ты слышишь? – шепчу я старому Кобе, лежащему на полу.

И мы с маленьким Сосо поем над старым Кобой «Покаянную молитву».

Его мать. Солнце падает на волосы, и они вспыхивают – рыжие, золотые. Но лица ее я не вижу. Только руку. Она держит ручку маленького Сосо.

Мама ведет Сосо в церковное училище. И я бегу за ними.

Мы идем по нижней части нашего городка. Здесь живут богачи – армянские, азербайджанские и еврейские купцы... Особняки прячутся в тени за высокими деревьями. Здесь живет и моя семья. Пока его мать будет мыть наши полы, мы с Сосо можем поиграть. Но я не хочу играть. Я смотрю, как Кэкэ моет пол. Наше пламенное солнце падает из окна. Золотые волосы вспыхивают и гаснут. Подоткнув юбку, она сгибается над корытом. Вижу ее загорелые ноги. Как они греховно волнуют меня!

И шепот маленького Сосо:

– Не смей смотреть, убью!

И Сосо бежит к матери, но она, не оборачиваясь, уходит, уплывает от него... летит, согнувшись над полом.

Мы пробираемся сквозь толпу на базаре. Здесь собрался весь наш маленький город.

Я кричу:

– Они все пришли! Все, кто давно умер. Они пришли встретить тебя, Коба!

И старый Коба, лежащий на полу, улыбается.

За нами, хохоча, припустил рыночный дурачок, юродивый. Он вопит:

– Сторонитесь, великий царь бежит! Берегитесь! Спасайтесь от этого царя!..

Сколько раз потом я вспоминал этот крик...

А мы все бежим по рынку... На улице портной снимает мерку. Посыпал золу на землю, заказчик улегся на нее. Портной сидит верхом на заказчике, прижимает его к золе. Теперь в золе – размеры заказчика...

А вот мой обедневший родственник – цирюльник. Выдерживает зуб большими щипцами. Вопит пациент. Вокруг толпа рыночных зевак. Цирюльник победоносно поднимает зуб в щипцах – показывает толпе.

– Наверное, так на гильотине палач показывал отрубленную голову, – хохочет маленький Сосо... и замолкает. Смех застрял в глотке. Навстречу – *он*.

Он загораживает нам дорогу – черный, низкорослый, худой. Лицо заросло бородой и усами, лоб съеден волосами, бешеные, желтые глаза.

Это отец Сосо – сапожник. Он продал на базаре свои сапоги и уже пьян.

– Дьяволенок! – кричит он сыну. – Выблядок!

Сосо очень похож на него, но отец выдумал, будто Сосо не его сын. Чтобы иметь право не давать в семью деньги. Деньги нужны ему самому – пить.

Он пьян всегда. Но вместо нашего, обычного, пьяного грузинского застольного славословия он грязно ругается и лезет в драку. (Да и откуда быть славословию, ведь он не грузин. Он осетин, переделавший свою фамилию Джугаев на грузинский манер – Джугашвили.)

Постоянный гнев сжигает этого человека, он кричит яростно маленькому Сосо:

– Убирайся домой, дьяволенок!

Я вижу крохотный домик Сосо. И на глазах жалкая лачуга одевается в мрамор. Гигантский мраморный павильон нависает над лачужкой.

– Это ты ведь придумал... – говорю я Сосо. – Чтобы место твоего рождения было украшено, как место рождения Христа.

Мы оба хохочем, и мрамор рассыпается от нашего смеха.

И, словно в детской сказке, вновь перед нами тот убогий домик. У входа сидит на камне – тачает сапоги – мрачный

отец Сосо. Он непривычно трезв с утра и оттого ненавидит весь мир.

– Все как тогда, правда? – говорю я Кобе, лежащему на полу.

Но старый Коба молчит...

Мы входим в домик, я и маленький Сосо. В ту единственную комнатку, где они ютятся втроем – отец, мать и сын. Мы спускаемся в место наших детских игр, в прокопченный темный подвал. Скучный свет через окошечко подвала падает на деревянную колыбель, висящую в темном углу.

И наконец-то слышу голос его матери, мягкий, нежный – она хорошо пела.

– В этой печальной колыбели заливались криком двое его старших братиков. Обоих взял к себе в ангелы наш Господь. Только Сосо у нас выжил. В благодарность за дарованную жизнь он будет служить Богу.

– Я буду епископом, – шепчет Сосо.

– Нет, ты будешь простым священником, – шепчет мать. – Они ближе к Богу. Я стану приходить в твою церковь молиться.

И яростный гортанный хохот.

– Ха-ха, – покатывается его отец. – Хорош священник с дьявольским копытом! Он купаться у тебя не ходит. Покажи копыто! – Я вижу, как отец хватает ногу Сосо.

– Не надо! – кричит тот.

Но отец выворачивает его ножку, сдирает жалкий детский

ботиночек. И показывает всему миру крохотную ступню Сосо со странно сросшимися двумя пальцами.

– Родила дьяволенка! – кричит отец. – Недаром Бог не хотел твоих выблядков. Двоих забрал! – он гогочет. – А она, упрямая, все-таки родила!

– Что ж ты срамишь нас! Ой, как стыдно, – шепчет мать.

– Мне священник говорил: «Родила сатану». – Дикие пьяные глаза отца. – Убить его надо! К его отцу, к сатане, отправить! – Он вытаскивает нож.

Мать хватает Сосо на руки. Золотые волосы развеваются на бегу. Она бежит с ним на руках. И я, маленький Фудзи, реву от страха, но бегу за ними.

Отец догоняет. Сейчас он вырвет его у нее. Вырвал. Сосо в его крепких, цепких руках извивается ужом. Отец, подняв его, с безумным смехом швыряет на землю.

Мать на коленях плачет над Сосо, обцеловывает его. Плачу и я.

Только Сосо не плачет. Молчит.

Я проснулся. В это утро, когда он умирал на даче, я жил в нашем детстве. И, лежа в темноте, продолжал вспоминать.

Я вспоминал тот особенный день. *«День ножа»*. Нам тогда было уже по девять лет...

Отец пьяный подошел к дому. Мы с Сосо только что пришли из училища. Мать его Кэкэ собралась идти к нам, мыть у нас полы, а мы, как всегда, с ней.

Мы вышли во двор. Его отец стоял во дворе, был он со-

всем темен, видно, недопил.

– Ну что, еще одного выблядка пошла делать? Может, сначала мне этого придушить? – привычно замахнулся на сына.

Кэкэ молча ударила его. Сапожник оторопел. Потом опустил руку, чтоб выхватить сапожный нож из-за голенища. Но она опередила – ловко достала его нож, швырнула в траву. Они молча начали драться. От постоянной тяжелой работы она сильно окрепла. А он, наоборот, ослаб от непрерывного пьянства. Он никак не мог бросить ее на землю.

Она вцепилась в него, но, видно, уже из последних сил. И закричала нам:

– Бегите, бегите!

Но Сосо не побежал. Я и сейчас вижу, как он кинулся в траву. Нож в его руке сверкнул на солнце. И маленькая фигурка с ножом начала красться к дерущимся.

– Не надо... – шептал я. – Не надо! – уже кричал я.

Отец обернулся. Хмель прошел. Обернулась и мать.

Мгновение они оба, молча, смотрели на Сосо.

– Отдай, – сказала мать. – Сейчас же!

И Сосо отдал нож.

# Евреи

Отец и сын – они мирно сидят у крылечка. Отец и сын, такие похожие друг на друга. Это бывало редко. Но если бывало, я знал, о чем они говорят... Отец учит Сосо ненавидеть богатых, ненавидеть моего богатого отца и особенно – богатых евреев.

Мать Сосо часто работает у еврейских купцов – обстирывает, убирает дом. С собой она часто приводит Сосо. Сердобольные евреи жалеют маленького Сосо. Тихонько суют ему деньги на сладости. Мать радуется их щедрости. Но Сосо... Он шепчет мне: «Ненавижу каждую их копейку, жида проклятые. Отец говорит, что они за свои деньги у матери... подол задирают. Ничего, придет день, богатых перережем!»

Я в страхе машу на него руками, а он смеется злым смехом своего отца.

...Мы идем в горы всем училищем. Нас ведет учитель – горский еврей.

Горная речушка перекрыла путь. Мальчики по колено в воде перешли ее. Учитель в сюртуке, в новеньких туфлях стоит в нерешительности. Дома меня учили чтить старших. Я вошел в воду, подставил учителю спину. Я невысок, но очень силен. На спине я перенес его.

Потом услышал за собой тихий голос Сосо:

– Ишак ты, что ли? Я самому Господу спину не подставляю.

А ты подставил еврею. Ты что, забыл: они Христа распяли!  
...Моя бабушка читает нам Евангелие. Удивленный голос  
Сосо:

– Ну почему Иисус разрешил себя убить? Ведь он все мог! Мог испепелить врагов огнем, как небесный дракон. Мог? Мог! И почему он не позвал своих друзей – ангелов. Ведь их был у него целый легион?

– Он и вправду все это мог, но не захотел, – отвечает бабушка. – Ведь Он пришел в мир искупить наши грехи. Он принес себя в жертву. Это искупительная жертва во имя нашего спасения. И твоего спасения.

– Но потом, когда Он вознесся на небо, почему не отомстил своим заклятым врагам – евреям?

– Он никогда никому не мстил. Он любил всех людей и жалел всех нас. Он на кресте просил Господа: «Прости им, ибо они не ведают, что творят».

– Такого быть не может, – шептал мне потом маленький Сосо. – Они нам что-то недоговаривают. Но мы отомстим евреям за Иисуса. И Он узнает на небе и, поверь, хорошенько нас отблагодарит. Ведь Он всемогущий!..

Сосо быстро придумал месть евреям. Но он боялся материнских затрещин. От трудной работы руки у нее становились с каждым днем все сильнее, все тяжелее. Все чаще беспощадными затрещинами она смиряла Сосо. И даже пьяница отец теперь сторонился ее. Потому исполнить месть Сосо благоразумно поручил мне и двум нашим верным друзьям...

Мы тогда были неразлучны, четверо маленьких мальчиков – Петя, Гриша, я и Сосо. Мы называли себя «тримя мушкетерами». Но всегда исполняли то, что приказывал четвертый – наш Д'Артаньян.

Сколько раз я вспоминал ту нашу детскую месть... По приказу Сосо я начал копить карманные деньги (я получал их от отца; остальные мушкетеры, как и Сосо, были из бедных семей). На мои скопленные деньги Сосо послал меня, Петю и Гришу покупать свинью. Свинью мы спрятали у Гриши в сарайчике, где у них лежали дрова.

Сосо придумал отомстить евреям во время их праздника Пейсах.

Евреи собрались в синагоге. У дверей синагоги – ни души, все внутри. Сосо стоял на пригорке – руководил. Подал знак, и Гриша с Петей погнали нашу свинью к синагоге. Негодная свинья упиралась. Но они хлыстом ее, хлыстом!.. Пошла!

Я стою у синагоги, готовлюсь раскрыть дверь и впустить свинью к евреям. Сосо – по-прежнему поодаль, наблюдает с пригорка. Но проклятая свинья остановилась посреди дороги, уперлась, норовит повернуть и бежать обратно на рынок. Пришлось мне помогать. Теперь тащим ее втроем...

В самый главный момент мести я действую один. В дверь, раскрытую передо мною «мушкетерами», загоняю свинью в еврейский храм. Как только она исчезает там, пропадает с пригорка и Сосо. Бегу прочь и я с «мушкетерами»...

Меня, Гришу и Петю разоблачили в тот же вечер. Впер-

вые в жизни меня порол отец. Еще хуже пришлось остальным. У них отцы были попроще, их пороли больше и дольше. Несколько дней мы не могли сидеть. Но Сосо не выдали.

Однако зверски выпороли и его. Дело в том, что мы очень похожи с ним. Мало того что мы одного роста, – у нас похожие лица. Нас всегда принимали за родных братьев. В довершение у нас у обоих рябые лица – мы оба переболели ospой в детстве, заразив друг друга. И если люди с рынка, продававшие нам свинью, указали на меня, то евреи в синагоге, видевшие меня в дверях, перепутали меня с Сосо.

Вечером православный священник объявил прихожанам в церкви: «Среди нас оказались заблудшие овцы, которые свершили богохульство в одном из домов Бога». И назвал имена нас четверых. Мать Сосо, узнав о поступке сына, впервые позволила отцу расправиться с ним.

С детства я почему-то не мог противоречить Сосо. Безропотно подчинялись ему и двое других «мушкетеров»: маленький Гриша и огромный Петя, самый сильный мальчик в округе.

Мы участвовали вместе во всех драках с ребятами из нижнего города, где жили дети богачей. Обычно план разрабатывал Сосо. А мы исполняли.

– План готов, – объявлял важно Сосо. – Ты, Гриша и Петя набрасывайтесь на противника внезапно из засады. Лупите беспощадно. Пока не подоспею я. А я подоспею вовремя...

И вот враги безмятежно идут по улице. Мы ждем их в за-

саде. Свистит Сосо, и мы набрасываемся на противников... Деремся все упорнее. Мне уже разбили нос, течет кровь. Но в самый решающий момент появляется Сосо. Набрасывается сзади на спины врагов с ужасным, гортанным криком. И враг бежит!..

Я говорю старому Кобе, лежащему на полу:

– Ты сохранил привязанность к нашим друзьям. Спасибо тебе за то, что в голодные годы Отечественной войны исправно посылал деньги Пете и Грише. Мне, правда, ты ничего не посылал. Меня ты всю войну продержал в лагере...

И только тут я окончательно проснулся. Вскочил в какой-то испуганной спешке с кровати. Но оказалось, что всего одиннадцать утра. Я мог еще спать. Мне нужно было поспать после *той ночи*, ведь неизвестно, что предстоит сегодня.

Я заставил себя лечь... И лежал в полудреме. И вспоминал еще один *особенный день*...

Нам уже было тогда по четырнадцать лет. Я отчетливо помню голос его отца в тот день. Слышал их обычную перебранку с матерью:

– Митрополитом хочешь сделать выблядка! В семинарию определила. Нет уж! Работать он пойдет. Вот я читать и писать не умею, а вас содержу. – Он схватил ее шкатулку, всегда стоявшую под иконой... Резную шкатулку из ее родительского дома. Выгреб ассигнации, смял в кулаке.

– Положи на место. Не твои! Свои ты уже пропил. Эти заработала я!

– Ты как говоришь с женщиной? Чем заработала? Пиздою? Но она тоже принадлежит мне!

Они уже стоят во дворике дома у зарослей кустарника. Матерясь, отец засовывает ассигнации в карман... Она молча ударила его в пах крепким кулачком.

Он согнулся. А когда разогнулся – в руке, как всегда, нож из сапога. Но она все так же молча бросилась на него, выкрутила руку. И нож полетел в кусты.

Отец сидел на земле и пьяно плакал:

– Все равно прирежу. И тебя и его...

Я заметил, как метнулась в кусты фигурка Сосо.

... Через неделю мы встретились с Сосо у реки. Он сидел на берегу и ловко бросал отцовский нож в дерево. Нож впиался в кору.

Он засмеялся:

– Отец долго искал его, убить нас хотел им. Меня и мать. Теперь другой нож покупать придется... Сапожничать. – На лице Сосо блуждала задумчивая полуулыбка. Я часто видел ее потом, когда некая опасная мысль начинала бродить в его голове. Точнее – страшная мысль. – Мать говорит: надо прощать. Дескать, крест он для нас, следует терпеть, нести его. – И опять полетел ножичек в дерево. – А я не ишак. Я этот крест носить на себе не буду.

Именно тогда, бросая нож в дерево, он в первый раз сказал мне:

– А если никакого Бога нет? И никакого креста нести не

нужно! Если человек *совсем-совсем* свободен?

Через несколько дней Сосо сообщил мне печально:

– Отец исчез. Неделю как не появляется дома. И никто его не видел. Мать ходит по трактирам, разыскивает. Дружок его, такой же пьяница, говорил, будто слышал, что он уехал в Тифлис и там зарезали его в пьяной драке. Жаль его, и мать убивается. Какой-никакой, а все-таки отец!

# Рождение Кобы

За несколько дней до *этой судьбоносной ночи* он вдруг спросил:

– Что ты думаешь о смерти?

– Я вообще о ней не думаю.

Так я ответил. На самом деле тогда, благодаря ему, я думал о ней каждый день.

– Помнишь, еще в училище, – продолжал Коба, – мы учили: «Решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, *чтобы они мучили себя...*» Бухарчик как-то привел мне чью-то цитату... он был мастер умных цитат: «Смерть есть жизнь, а жизнь – это и есть смерть». Ты ведь тоже когда-то верил, что *там* есть истинная жизнь.

– Но ты мне помог, Коба, в *тот день...*

Тот день в семинарии... Мы выходили из церкви, и он вдруг прошептал мне:

– Бога нет, они надули нас.

Именно после этого он дал мне почитать удивительные книги, где доказывалось, как дважды два, что никакого Бога нет. И это он привел мне тогда слова моего любимого писателя Чехова: «Я с изумлением смотрю на всякого верующего интеллигента». И, погибая от кощунства, от собственной смелости, мы шептали во время богослужения: «Бога нет...

Нет никакого Бога!» И потом хохотали.

Если вы напишете книгу о Кобе, я хотел бы, чтобы вы процитировали некоторые мои мысли. Это мысли бывшего семинариста о том, почему из стен нашей Тифлисской семинарии вышло столько революционеров! В чем была шутка дьявола!

*Тот* Тифлис, залитый солнцем. Новый мир, который так потряс всех нас, мальчишек, приехавших сюда из заштатных грузинских городков и сел. Тифлисская дневная улица – важный грузин в черкеске, за ним слуга несет корзину с покупками, музыканты-зурначи, удалые кинто, уличные торговцы, которые всегда навеселе... Эту шумную веселую дневную жизнь мы видели, но ту, ночную, только представляли. Буйную пьяную толпу, валившую после полуночи из кафе, ресторанов и запретных для нас театров.

Мы жили, отделенные стенами от полного соблазнов огромного южного города. Суровый, аскетический дух служения Господу царил в семинарии. Раннее утро, когда так хочется спать... Но нельзя! Надо идти на молитву. Торопливое чаепитие, долгие классы, опять молитва, затем скудный обед, короткая прогулка по городу... И уже закрылись ворота семинарии. Ворота нашей тюрьмы. В десять вечера, когда город только начинал жить, мы отходили ко сну после молитвы. Арестанты, которые без всякой вины должны проводить в тюрьме лучшие годы. Многие из нас, пылких, рано созревших грузинских юношей, совсем не были готовы к

такому служению. Поцелуи в ночи... женская грудь... обнаженное женское тело, которое ласкают там, во тьме, – вот о чем мы грезили, засыпая.

С каким восторгом мы узнали о совсем ином учении, откровеннейшем для нас совсем иные пути. Его привезли в Тифлис русские ссыльные. Старшие мальчишки рассказали о нем... Марксизм! Насколько близки нам оказались марксистские идеи. Как и первые христиане, марксисты осуждали погрязший в корысти и наживе мир. То же жертвенное служение угнетенным, презрение к богатству, обещание царства справедливости с воцарением нового Мессии – Всемирного пролетариата. Все это совершенно совпадало с нашим религиозным воспитанием. Отменялся только далекий и призрачный Бог. Но взамен мы получали целый мир, где могли жить, как хочется, могли наслаждаться плотскими утехами. И наконец, отменялось столь малопонятное нашему возрасту «добром отвечать на зло». Напротив, нам, сынам воинственного народа, даровалось право быть беспощадными к врагам нового Мессии. Вопрос маленького Сосо: «Почему Иисус не вынул саблю?» – был разрешен. И как заманчиво звучало для нищего и гордого Сосо и для других детей бедняков великое обещание нового учения: «Кто был ничем – тот станет всем». Обещание Революции.

Теперь мы с Сосо зажили увлекательной двойной жизнью. Утром и днем молились Богу, вечером, убежав из семинарии, на тайных сходках мы его ниспровергали.

Но эта двойная жизнь закончилась в *тот день*. Новый ректор семинарии епископ Гермоген, будущий знаменитый враг Распутина, обнаружил у Сосо запрещенные книги.

Нас выстроили во дворе. Сосо поставили перед строем.

– На колени! – закричал Гермоген. – Кайся!

Но Сосо молчал, пристально глядя на огромного Гермогена.

И тут Гермоген снял с груди золотой крест и им плашмя ударил Сосо по голове. Истошно, страшно завопил:

– Дьявол, изыди!

Сосо не пошевелился.

– На колени! – проорал Гермоген и... вдруг застыл с занесенным над Сосо крестом.

Сосо стоял недвижно и неотрывно смотрел на Гермогена. Я до смерти буду помнить трясущегося от бешенства, огромного толстого монаха и маленького Сосо, в упор глядящего на него.

Гермоген вдруг как-то сник. Еле слышно, хрипло закончил:

– Может, у нас еще есть любители читать поганые книжки?

Сосо только взглянул на меня. Даже не поняв, что делаю, я шагнул вперед...

Из семинарии нас исключили обоих. В это время Сосо уже был революционером. Вступил в подпольный кружок марксистов. Стал революционером и я, но по его приказу. В ко-

торый раз сделал то, что хотел он.

Надо было придумать себе революционную кличку. И, пока я раздумывал, Сосо вспомнил японский меч, висевший в нашем доме. (Отец мой, купец, торговал японскими товарами. Этим самурайским мечом я по-детски гордился.)

– Ты так им восторгаешься, что даже узкоглазым становишься. – Сосо прыснул в усы (он стал носить в это время бородку и усы, как все настоящие революционеры). – Ты у нас совсем япошка. Чистый Фудзияма... Я, пожалуй, буду звать тебя сокращенно – Фудзи.

Это и стало моим революционным именем. Хотя прозвище Фудзи мне не очень нравилось. Но постепенно я к нему привык.

Себе Сосо взял кличку Коба. Это был герой знаменитого грузинского романа – грузинский Робин Гуд, бесстрашно грабивший богатых.

И я сказал ему:

– Моя кличка мне не очень нравится, а вот твоя – замечательная.

Он помолчал и вдруг спросил с усмешкой:

– А ты не забыл название романа?

И я... вспомнил!

– Ну что молчишь? – как-то зло спросил Коба.

Должно быть, ужас был в моих глазах.

«*Отцеубийца*» — так назывался этот роман.

Коба сказал:

– «Отец» – нелепое слово для революционера. Помнишь, как нас учили попы: «Христу говорят: “Мать и братья зовут тебя”. А он показывает на учеников-соратников: “Вот братья мои и вот мать моя...”»

...И я снова видел, как маленький Сосо сидит у реки и просит проносящихся плотогонов: «Плотогон, плотогон! Перевези меня на другой берег!» А я сижу на том, другом берегу. И все зову Сосо. Тщетно зову.

Потому что маленького гордого, наивного и злого Сосо уже нет.

В те дни родился беспощадный революционер Коба.

Я вновь проснулся от мерзкого звона.

Было *двенадцать часов* дня. *Первое марта*. Звенел будильник. Надо мной стояла жена. Приехала машина с шофером от Берии. Надо было одеваться, ехать на Ближнюю дачу...

Я приехал туда в *четверть третьего*. Знакомая утренняя картина: «прикрепленные» сидели в кухне, пили чай. Коренастый Лозгачев что-то рассказывал такому же коренастому Старостину. Старостин был старший «прикрепленный». Он появился на даче в десять утра – сменил уехавшего домой спать другого старшего «прикрепленного», Хрусталева.

Сейчас Лозгачев (в который раз) обсуждал со Старостиным невероятное распоряжение Хозяина. Оказывается, в пятом часу утра, проведив «гостей», Коба велел всем «прикрепленным» идти спать. «Вы мне больше, – говорит, – се-

годня не понадобится, идите спать... Я тоже пойду».

– Никогда такого не бывало! – удивлялся Лозгачев.

– Не бывало, – соглашался старший «прикрепленный» Старостин. – Говоришь, он был хороший?

– Очень хороший, добрый, ласковый был...

– Значит, ничего не болело, – рассудительно сказал Старостин.

– Это точно, когда болит – лучше не подходи! – подтвердил Лозгачев.

Заговорили они о здоровье Кобы неспроста. Обычно Коба просыпался в десять-одиннадцать часов. Сейчас заканчивался третий час пополудни, но звонка из комнат все не было. Наружная охрана, которой они при мне звонили дважды, отвечала, что в комнатах «нет движения».

Думаю, у них у всех уже зашевелилась *эта мысль*. Но никто не смел произнести ее вслух. И сейчас они успокаивали друг друга.

Лозгачев сказал весело:

– Видать, хороший у него сегодня сон.

Все старательно засмеялись. И продолжили чаевничать. Я выпил с ними чаю.

Часы пробили половину четвертого, но Коба по-прежнему спал! И снова Старостин позвонил наружной охране. И опять услышал уже раздраженное: «Нет движения!»...

Я прошел в свою комнату. В ней я ночевал, когда оставался на даче. Комната находилась здесь же, в пристройке для

«прикрепленных», рядом с кабинетом бывшего начальника охраны Власика, недавно арестованного. (Кабинет Власика пустовал. После его ареста там появлялись и быстро исчезали исполнявшие его должность: никто не нравился Коба. Наконец Коба остановился на полковнике по фамилии Новик. Но накануне, как я уже написал, Новик попал в больницу – приступ аппендицита.)

Я запер свою дверь, подставил под люстру стул и влез на него. Нажал кнопку на люстре, и «включилась» Малая столовая. Я услышал ровный храп Кобы. Тотчас выключил. Все шло по плану. Он спал. Я знал: он *крепко* спал.

Я лег на кровать. Теперь я мог спокойно продолжать вспоминать нашу жизнь – мою и его. Хотя было страшновато вспоминать ее здесь и сейчас.

Но я ведь подводил итоги. Это было вроде некролога.

Когда нас исключили из семинарии, мы оба устроились работать в обсерваторию. В нашу нехитрую обязанность входило снимать показания приборов. Точнее, снимал их я, а Коба готовил забастовку. Кровавую забастовку в портовом городе Батуме. Он мне сказал уже тогда: если не будет много крови, не будет и Революции...

В обсерватории мы оба встретили двадцатый век. Все ушли праздновать – встречать новое столетие. Приближалась новогодняя полночь, когда Коба предложил мне проникнуть в зал, где стоял телескоп, и посмотреть на звезды в этот особый миг смены столетий. Я отказался, он ушел...

Вернулся какой-то странный.

Я все надоедал ему с вопросами, что он там увидел. Но он молчал. И тогда я засмеялся и спросил:

– По-моему, веришь в звезды, марксист?

Ответил он странно:

– Когда астрологи гадают людям по звездам, они лгут. Звезды не имеют отношения к обычным людям. Но к Цезарям – имеют...

В нашей маленькой комнатке в обсерватории мы устроили склад прокламаций и запрещенных книг. Однако на нас донесли, и в обсерваторию нагрянула полиция. Кобе повезло – он ушел буквально за час до обыска. Арестовали одного меня.

Это была моя первая тюрьма. Но мой отец за взятку добился освобождения.

Коба в те дни перешел в подполье. Одно время он жил в развалинах средневековой крепости, стоявшей на горе над нашим Гори. У крепостных ворот лежал странной формы камень – огромный, абсолютно круглый каменный шар. У нас его называли мячом Амирана. Амиран по кавказским поверьям – гордый, злой дух. Этаким кавказский Прометей, прикованный на вершинах наших гор. Но только кровавый Прометей. Восставший против Бога Амиран истреблял послушных Богу людей. По преданию, он играл этим камнем, как мячом, и, играя, убивал.

Раз в году, в ноябре, стерегущие его ангелы засыпали. И

тогда Амиран пытался разорвать оковы и уйти в мир с вершины скалы. По древнему обычаю в ноябрьскую полночь весь наш маленький городок высыпал на улицу будить уснувших ангелов. С южной энергией люди отчаянно колотили кто во что горазд: по тазам, по медным чайникам. Возглавляли какофонию городские кузнецы. Всю ночь они усердно били по наковальням. Колокола церковей угрожающе ревели...

Именно в ту опасную ноябрьскую ночь я должен был передать Кобе фальшивый паспорт. Мы договорились встретиться у камня Амирана. Крадучись, я поднялся в развалины, тихонечко свистнул. Свист мой потонул в громовом ударе. Начиналась гроза. И в свете молний я увидел у страшного камня ухмылявшегося Кобу.

Я протянул ему паспорт...

– Говорят, отец за взятку тебя освободил, – сказал он с презрением. – Эх ты! Арест и тюрьма – мечта настоящего революционера. Только арест дает нам возможность выступить на суде, на людях обличить строй.

Я возмутился:

– Но ты почему-то на свободе!

И тогда он начал говорить. Я никогда не забуду, как он говорил в грозových сполохах:

– Запомни! Революционер – человек обреченный. У него не может быть *своих* дел, *своих* чувств и даже *своего* имени. Запомни. – Его указующий палец надавил мне на грудь. – Мы порвали все связи с общепринятой моралью. Нравствен-

но для нас только то, что поможет торжеству Революции. Безнравственно, преступно все, что мешает. И поэтому для пользы Революции должны существовать революционеры первого и второго разрядов. Первые распоряжаются революционерами второго разряда, как своим капиталом, который они могут тратить на нужды Революции. И если революционер первого разряда считает, что надо пожертвовать свободой, даже жизнью революционера второго разряда, он волен это сделать. Тот, другой, должен принимать это и почитать за счастье. Поэтому я, революционер первого разряда, подготавливающий сейчас стачку рабочих в городе Батуме, обязан быть на свободе. А ты, если сочту нужным во имя Революции, пойдешь в тюрьму...

Самое удивительное – я смолчал. Сказать, что я не чувствовал себя униженным, было бы неправдой, но я молчал, будто парализованный взглядом горящих желтых глаз. Клянусь, его глаза сжимали меня железным обручем.

Мы обнялись. И, стоя под черным небом, освещаемый молниями, он начал читать мне свои стихи:

– Там, где раздавалось бряцание его лиры,  
Толпа ставила фиал, полный яда, перед гонимым  
И кричала: «Пей, проклятый!  
Таков твой жребий, твоя награда за песни.  
Нам не нужна твоя правда и небесные звуки!»

Эти стихи, и тот монолог, и ту грозу, и его глаза я до смер-

ти не забуду. Не забуду его яростное лицо, освещенное молнией и... глазами! Это и был истинный Коба. Мой друг – барс Революции.

(Правда, потом я прочел все эти грозные слова про «обреченного революционера» у революционера беспощадного – Нечаева. Оказалось он написал их в своем «Катехизисе Революционера». Узнал я об этом только через много лет. Но автором стихов был он сам, мой друг Коба. Отличных яростных стихов. Их напечатал в своем журнале король наших поэтов, великий Чавчавадзе, и я гордился своим другом.)

Коба закончил читать, и в этот миг сверкнула очередная молния. Снизу, из нашего городка послышался грохот. Люди начали будить заснувших ангелов. Оглушительная какофония заглушила удары грома.

– Стучат, дураки-мудаки, – захохотал Коба. – Боятся, что придет Амиран, жалкие, трусливые людишки!

Я смотрел вниз на освещенный факелами город, но, когда поднял голову... Кобы уже не было! Он исчез! Помню, почти в испуге я звал его: «Коба! Коба!..»

В странной панике, под грохот, доносившийся снизу, я бежал с горы. Дважды упал, споткнувшись, вставал и... бежал, бежал!

Я тогда не понял, как, впрочем, и весь наш маленький городишко, что стучали тщетно – страшный Амиран уже ушел в мир со скалы.

## Коба и власть

Второй раз меня арестовали почти одновременно с Кобой. Помню, как в крохотном тюремном дворе я увидел его во время прогулки. Мы обнялись.

– Ты, наверное, подумал тогда, что я дружу с духами, – прыснул в усы Коба. – Какие вы глупые люди! Какие суеверные. О, род человеческий! Я попросту лежал на животе за огромным камнем Амирана и хохотал. Вот так же нас обманывают чудесами священники...

Это была азиатская тюрьма: садисты-надзиратели, ужасающая грязь, абсолютное бесправие политических. Уголовники издевались и били нас при молчаливом покровительстве тюремщиков.

Я был невысок, но силен, как бык. И когда один из них посмел ударить меня, я преспокойно сломал ему руку. Ночью они пришли ко мне в камеру скопом. Утром я лежал в тюремной больнице зверски избитый, порезанный ножом. (Самое смешное – на прогулке они сначала набросились на Кобу, уж очень он похож на меня. Но вовремя спохватились, к его счастью.)

И тем не менее жить в тюрьме было можно – к нам приходили друзья под видом адвокатов, мы легко прятали в камере запрещенные книжки, передавали письма на волю. Причем письма носили за деньги... наши охранники! Да и в ссылках

тогда жилось неплохо. Впоследствии Ленин, смеясь, рассказывал, как он пожил в ссылке в свое удовольствие, писал, охотился и даже женился там.

Коба хорошо запомнил: царская тюрьма и ссылка при всех издевательствах никого из нас не сломала. И мой друг Коба, прошедший всю свою молодость в ссылках и бегах, это учтет. Его тюрьма и его ссылка будут совсем другими...

Первая власть в азиатской тюрьме – деньги. Но у нас с Кобой их не было. Проклявшие меня родители денег не присылали... Но имелась и вторая власть – уголовники. Ее боялись все, даже наши тюремщики. Коба первым из нас, политических заключенных, последовал заповеди великого революционера Нечаева – соединился с разбойничьим миром. Сын нищего сапожника, матерщинник Коба быстро нашел общий язык с уголовниками.

Его новые знакомые уважали физическую силу. Он ею не обладал. Но, привыкший с детства к побоям, он сумел показать большее – презрение к силе.

Это случилось в пасхальные дни. Мы, политические, были атеистами и Пасху демонстративно не отмечали. Начальник тюрьмы решил преподать нам урок. В тюремном дворе выстроились в два ряда солдаты. Пятерых политических, особенно досаждавших начальнику «законными требованиями», построили в ряд. Среди них был Коба. Под ударами прикладов они должны были пройти сквозь строй.

Все население тюрьмы – политические и уголовные – со-

брались в тюремном дворе. Нам надлежало стать зрителями поучительного зрелища.

И началось.

Трое политических прошли половину пути и были унесены на носилках в госпиталь. Еще один, едва начав путь, упал и под хохот уголовных отправился в тот же госпиталь.

Коба шел последним. Он вышел с учебником немецкого – он тогда учил этот язык, решил читать в подлиннике Маркса. Помню, начальник крикнул ему: «Убери книгу!»

Будто не слыша, Коба с открытой книжкой двинулся сквозь строй. Не опуская головы, держа книжку перед собой, шел он под ударами прикладов. Миновав последнего солдата, он спросил начальника тюрьмы, стоявшего в конце строя:

– Прикажете повторить, господин начальник? – и взглянул на него страшными желтыми глазами.

Тот как-то съежился, махнул рукой и в странном отчаянии торопливо пошел, почти побежал прочь.

Как и в училище, в семинарии, в подпольном партийном Комитете, Коба захватил власть и в тюрьме. Матерых бандитов подчинила странная сила, исходившая от моего друга, маленького рябого Кобы с желтыми глазами.

# Ленин и кровь

Коба мечтал о скорой Революции, свято верил в нее. Но старики-марксисты (то есть тридцатилетние), сидевшие с нами в тюрьме, объясняли: «Маркс велит нам ждать, пока вырастет, станет могучим наш Мессия – русский пролетариат. И только тогда может свершиться подлинная Революция».

Коба ненавидел споры с «умниками» – так он называл этих старых, великолепно знавших теорию марксистов. Но еще больше он ненавидел ждать. Коба никогда не соглашался с тем, что не совпадало с его желаниями. Он говорил мне:

– Неужели Маркс, великий человек, написал такую глупость!? Не верю!

Считалось, что отца коммунизма истинные революционеры должны читать в подлиннике. Он немедленно начал изучать немецкий, чтобы прочесть Маркса и посмеяться над «умниками». Умники дали ему учебники, усердно занимались с ним. Он очень старался, но немецкого так и не выучил. Немецкие слова тотчас вылетали из его памяти, будто их там и не было. Он был туп к языкам. Но в его жизни всегда происходило одно и то же: свою неудачу он считал чужой виной. Он сказал мне:

– Мерзавцы подсунули не тот учебник, они нарочно плохо учат. Они боятся моей встречи с Карлом Марксом...

Именно в это время Кобе повезло: он нашел истинного

Учителя. Учитель, к его счастью, написал свою книгу на русском. Его звали Ленин. Книга называлась «Что делать?». В ней Ленин совсем по-другому трактовал Маркса. И вскоре Коба сообщил мне, яростно сверкая глазами:

– Я был прав! Они обманули. Ленин учит: ждать не нужно! Маленькая группа героев сможет взять в свои руки власть. Надо лишь захватить столицу. Остальные подчинятся! Россия – страна рабов. Здесь одному приказать: «Трогай!» – и все поехали! Но для этого, учит Ленин, надо сначала создать подпольную, тщательно законспирированную партию. Партия – это архимедов рычаг, который опрокинет поганую Империю!..

И он тотчас приступил к действию: начал строить партию в тюрьме. Партию из уголовников.

Он терпеливо объяснял бандитам на прогулке:

– Зачем воровать жалкие крохи у богачей? Забудьте о воровстве. Вступайте в новую партию. После ее победы вы, угнетенные, получите все! Мы отнимем награбленное богачами у трудового народа. Мы будем грабить награбленное!

Это уголовникам было понятно. И они вступали в партию Кобы. Он назвал ее «Народная расправа» – в память о любимом Нечаеве. Как он был счастлив, когда кто-то рассказал ему, что Ильич тоже восхищается Нечаевым.

– Вот! – говорил он мне. – Наши умники брезгуют Нечаевым, потому что боятся крови. Нечаев учил: Революция – это кровь, беспощадное разрушение. Все дозволено, что на

пользу Революции! И Ленин учит так же. Они скрыли от нас и про Нечаева, и про кровь, и про «все дозволено»!

Да, Нечаев был отвергнут в это время просвещенными революционерами.

От Кобы я с изумлением услышал его биографию. Скажу честно, она заворожила меня. Когда Нечаева посадили в Петропавловскую крепость, к нему в камеру пришел шеф жандармов. Пришел унижать.

– И что сделал Нечаев? – шептал Коба. – Отгадай, дорогой! Не сможешь! Он дал пощечину шефу жандармов, царскому генералу! И так посмотрел на него... – Коба посмотрел на меня желтыми, страшными глазами. – И под взглядом Нечаева шеф жандармов с побитым лицом... опустил перед ним на колени! Такая революционная сила была в этом человеке. Он был настоящий... Он не владел имуществом, ночевал по квартирам знакомых, прямо на полу... Даже «умники» мне рассказывали: «У каждого из нас что-то было, у него – ничего». У него была одна мысль, одна страсть – Революция. И одна ненависть – к существующей жизни. Он учил, и мы с тобой должны запомнить это: «Право революционера действовать любыми средствами – шантаж, убийство!» Он так и написал: «Правительство в борьбе с революционерами не брезгует ничем и, главное, иезуитскими методами провокаций, почему же мы боимся?» Когда один из жалких ублюдков спросил Нечаева: «Стоит ли убивать царя?» Он ответил: «Убивать нужно не царя, а всю ектинью». – (Ектинья – мо-

литва за царскую семью с перечислением всех ее членов, которую мы постоянно пели в семинарии.) – Это Нечаев открыл: малочисленная организация при железной дисциплине сможет захватить страну. Именно такую партию создает сейчас Ленин... Ильич поднял упавший нечаевский факел. В основе такой партии должно быть беспощадное подчинение. – Эту мысль Коба повторял и повторял. – Такую партию легко создать в России. Может быть, ее можно создать только в России. Покорность, – шептал он, – в самой душе вечно бесправного русского народа. В ней огонь и кровь крестьянских бунтов. Главное в Революции – кровь! «Дело прочно, когда под ним струится кровь»! Учи заветы Нечаева!

Коба дал мне тетрадь. Всю ночь я читал яростные нечаевские слова, переписанные старательным почерком Кобы: «Денно и ночью должна быть у революционера одна мысль, одна цель – беспощадное разрушение. Стремясь к этой цели, он должен сам погибнуть или погубить своими руками все, что мешает ее достижению. Мы должны соединиться с лихим разбойничьим миром, истинным и единственным революционером в России...»

Создав свою партию в тюрьме, Коба стал важен. Он говорил теперь с «умниками» не о Марксе – о Ленине.

– Ленин, – заявил он им во время очередного диспута, – учит нас: «Никаких дискуссий, никакой свободы мнений в партии, желающей захватить власть, быть не может. Мы – боевая организация, ставящая целью Революцию. Такая же,

как орден меченосцев».

Когда «умники» посмели ругать «диктаторские привычки лысого Робеспьера» (так назвал Ленина кто-то из них), Коба только улыбнулся. И сказал мне:

– Пора научить истине.

В дело вступили мы: группа уголовников и я, друг Кобы.

Все оказалось легко. Мы напали на «умников» во время прогулки. Когда били политических, охрана становилась слепой. Мы били их жестоко. Главного «умника»-марксиста, к восторгу начальства, забили до смерти. До сих пор помню, как, харкая кровью, он прохрипел мне:

– Когда-нибудь ты вспомнишь, что обоих – тебя и его – я проклял!

Я расхохотался ему в лицо!

Коба сказал:

– Он был обыватель. Он не был революционером. Но все-таки его жаль. Такой умный, начитанный – и так заблуждался...

Кобу отправили в ссылку. Его сковали прямо во дворе ручными кандалами с другим социал-демократом – Алешой Сванидзе.

Алеша Сванидзе был очень хорош собой – невысок, но отлично сложен, светлые волосы, аккуратный нос с горбинкой, щегольские черные усики и удивительно нежные, светло-голубые глаза.

В паре с ним – такой заурядный Коба с ненавидящими

желтыми глазами.

Если бы знала эта кандальная пара предстоящие игры Судьбы... Сестра Алеши Сванидзе станет первой женой Кобы. Так что скованы были будущие родственники. И будущие убийца и убиенный. Потому что Коба расстреляет Алешу Сванидзе, нашего общего с ним дорогого друга...

– Надеюсь, больше не увижу твою рябую харю, – сказал ненавидевший Кобу начальник тюрьмы. – Пошел вон! – И дал ему сапогом пинка под зад... Он боялся Кобу и рад был, что избавляется от него.

Коба только улыбнулся. Мне была знакома эта его загадочная улыбка, от которой мороз пробежал по коже... Он ответил начальнику:

– Надеюсь, кацо, скоро не увидишь не только меня.

Через три дня начальника нашли у дома с перерезанным горлом. Это был прощальный привет от Кобы. Точнее, «партийный взнос» его друзей-уголовников.

Потом отправили в ссылку и меня. Из ссылки я бежал. Возвращаться в Тифлис, где меня знала каждая собака, было нельзя. Некоторое время я жил в Петрограде.

Летом 1903 года отец смилостивился, прислал мне деньги. Я бежал за границу в Брюссель. В Брюссель съехались тогда все звезды русской социал-демократии – то есть четыре десятка человек.

Сняли небольшой и, главное, недорогой сарай, где и развернулось историческое действие. Пока молодые участники

расставляли стулья в зале, я прикрепил на дверь сарая вывеску: «Учредительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии».

Вот так в июльский очень жаркий день четыре десятка человек в брюссельском сарае основали партию, которой предстояло изменить историю человечества.

Одним из первых приехал на съезд на велосипеде лобастый господин в котелке. Поставил велосипед, прошел в зал. Господин был лыс, с жалкими рыжеватыми остатками волос над висками...

Барственный Плеханов, знаменитейший русский марксист, сидел за столом – председательствовал. Напротив в первом ряду и устроился лобастый господин. О чем бы ни говорил Плеханов, лобастый, сверкая лысиной и узкими калмыцкими глазками, вскакивал оппонировать... Это и был знаменитый Ленин.

Плеханов волновался, злился. Он приготовился к почитанию, Ленин – к борьбе. Помню, как Ленин кричал, яростно картавя: «Мы, якобинцы, строим здесь партию будущей, кровавой Революции, которая захватит власть. Партию нового типа». Он потребовал жестокой централизации в будущей партии, беспощадного подчинения руководству. «Как положено в армии, в бою!»

– А как же дискуссии, милостивый государь? – В глазах Плеханова искреннее изумление.

– Дискуссии в армии? Дискуссии в бою? Какая буржуазная

чепуха!

И восторг на наших лицах – лицах молодых. Ленин был блестящий политический боец. Во время голосования по одному из пунктов плехановцы получили меньшинство, и Ленин, к нашему восторгу, прилепил им презрительную кличку «меньшевики», с которой они и вошли в историю. Себе и нам, своим сторонникам, взял уважительное имя «большевик».

Вот так сразу Ильич сумел расколоть только что созданную партию. Объединил во фракцию своих сторонников и стал нашим Вождем.

В перерывах Ленин разговаривал с молодыми – вербовал союзников.

Именно тогда я рассказал ему о его фанатичном почитателе Кобе. Но мне показалось, что, увлеченный борьбой, Ленин плохо слушал меня.

Вскоре я узнал, что Коба тоже бежал из ссылки. К моему изумлению, он не побоялся вернуться в Тифлис. Революционеры, как правило, опасались возвращаться в родные места.

Но мощная тифлисская «охранка», контролирующая весь Кавказ, как это ни странно, не смогла его арестовать!

В Тифлисе Коба жил в подполье.

Встретились вновь мы с ним в славном 1905 году, когда в России началось небывалое. То, чего не ждал никто из нас – ни большевики, ни меньшевики... Сфинкс, столетия спавший под строгим надзором своих самодержцев, внезап-

но проснулся. Массовые беспорядки, всеобщая забастовка, парализовавшая страну, мятежи в армии, баррикады. Пока мы спорили, какой будет Революция, она началась!

В Финляндии, в городе Таммерфорсе, была срочно созвана тайная конференция социал-демократической партии. Я снова являлся делегатом от Кавказа. Здание, где проходила конференция, стояло у озера, недалеко от огромного православного собора. Каково было мое изумление, когда, подходя к озеру, я увидел... Я не поверил своим глазам! У озера стоял... Коба.

– Коба!

– Ошибся, кацо, мое имя – господин Васильев, – усмехнулся он.

Мы обнялись.

Оказалось, я недооценил Ленина. Он запомнил мой рассказ о Кобе, и того пригласили на съезд. Коба купил себе паспорт на имя какого-то Васильева и приехал...

Честно говоря, я опять был изумлен. Финляндия, завоеванная русскими царями, чье население ненавидело царизм, стала любимым пристанищем для нас, русских революционеров. Оттого в дни революции 1905 года все поезда в Финляндию буквально кишели агентами русской секретной службы! У меня, помню, в пути жандармы четырежды проверяли паспорт, пристально вглядывались в фотографию, потом в мое лицо. Честно говоря, я не мог тогда понять, как Коба с его грузинским лицом и сильным акцентом благопо-

лучно проехал через всю Россию в Финляндию с русской фамилией в паспорте. Он воистину был удачлив. Слишком удачлив или (что точнее) *странно* удачлив...

Вечером в самой дешевой гостинице, где он остановился, я рискнул спросить:

– Что говорили жандармы, увидев твой паспорт на фамилию Васильев?

Он побледнел. Лицо стало злым.

– Они не видели мой паспорт. Я умею заговаривать. Сижу и бубню под нос: «Проходи мимо... проходи, дорогой...» И проходят! – Он посмотрел на меня в упор. – Ты что же, мне не веришь?

Я поверил, хотя никому не мог пересказать это странное объяснение.

Ленин уже был в зале, когда мы с Кобой вошли в прокуренное маленькое помещение. Ильич сидел в углу, что-то торопливо писал. Коба с таким детским восторгом уставился на него, что тот даже обернулся...

Коба прошептал:

– Подведи!

Я волновался. Я боялся, что Ленин задаст ему тот же опасный вопрос. Но я недооценил Кобу.

Я подвел его к Ленину, представил, и Коба, не дав ему открыть рта, вдруг весело, простодушно сказал:

– А я ведь думал, что вы совсем другой, товарищ Ленин.

Ленин с любопытством посмотрел на него.

– Что вы представительный, статный великан, – продолжал мой друг. – А вы... такой незаметный.

Ленин буквально зашелся от хохота.

– Великан? Представительный? – хохотал он.

– Да, я думал, что вы как... как орел!

– Орел! – заливался Ленин.

Все оборачивались. Но Коба продолжал в том же духе:

– И очень меня удивляет, товарищ Ленин, что вы пришли вовремя. У нас на Кавказе великий человек обязательно должен опаздывать на собрания.

– Опаздывать на собрания! – умирал от смеха Ленин.

– ...Пусть члены собрания с замиранием сердца ждут его появления...

Ленин часто смеялся. У него был звонкий детский смех. «Синьор Динь-динь» – так звали его в Италии. Коба, боготворивший тогда Ильича, быстро перенял у него эту привычку часто смеяться. Но смех у моего друга оказался странно-ватый, будто он что-то выплевывал изо рта. Вместо смеха Коба прыскал в усы...

Вечером в маленьком кафе Ленин, хохоча, пересказывал соратникам слова наивного, диковатого грузина, взявшего кличку из романа с грозным названием «Отцеубийца». Смеялись от души все слушавшие большевики, друзья Ленина – Каменев, Крестинский, Радек... Все, кого потом опозорит и расстреляет мой друг «Отцеубийца» Коба.

И только я, хорошо знавший его, понял: Коба играл! Он

решил быть таким, каким хотел его увидеть Ленин. Дикарь, пришедший в Революцию. Представитель миллионов. Азиат. И он им стал... для Ильича.

Хотя на конференции в Таммерфорсе Коба не выступал и вообще никак себя не проявил, Ленин пригласил его участвовать в съезде в Стокгольме. А потом позвал на новый съезд – в Лондон.

Многие наши товарищи недоумевали. Но к тому времени я уже знал почему.

Сразу после конференции в Таммерфорсе умер мой отец. Конечно, я рискнул приехать в Тифлис. Через день после похорон, поздним вечером, ко мне пожаловал Коба. Он был в какой-то глупой феске, выглядел в ней смешным малорослым рабочим-турком.

Как обычно, не сказав «Здравствуйте», он пробормотал что-то о соболезовании. Потом вынул мятый листок и начал читать. Это было обращение Ленина, написанное... будто в память о казненном брате Ильича. Его любимый старший брат, сторонник террора, задумавший покушение на царя, погиб на виселице, когда Ильич был еще подростком. Ленин никогда не забывал брата. Повешенный всегда находился возле него. (И когда он приговаривал к смерти царскую семью, думаю, мертвый брат тоже стоял рядом.)

Ильич писал: «Товарищи рабочие! Пусть слякотная власть узнает, что такое наш пролетарский террор. Создавайте повсюду боевые дружины! Вербуйте молодых боеви-

ков, учите их на убийствах полицейских... Кинжал, пистолет, на худой конец, тряпка, смоченная в керосине, – ваше оружие!»

– Так велит нам Ильич, наш Мессия, – торжественно сказал Коба. – С нами пойдешь?

– С кем это – «с нами»?

Коба тихонечко свистнул. И, как сейчас вижу: в дверях за щедедушным Кобой вырастает он – огромный, черноволосый. Еще один наш общий друг – Симон Тер-Петросян. Ставший легендой нашей партии под кличкой Камо. Вечно молчаливый Камо, юноша невероятной физической силы...

Дом его отца, богатого купца Тер-Петросяна, находился недалеко от лачужки Кобы. С отрочества Симон, как и я, был послушной тенью Кобы. Помню, как бесился мой отец, когда видел меня с Кобой. И так же бесился отец Симона: «Что вы нашли в этом голодранце? Не доведет он вас до добра!» Но тщетно. Коба притягивал нас к себе. И силач Симон вслед за мной и «мушкетерами» стал еще одним покорным адъютантом Кобы. Коба привел Камо к большевикам, как прежде привел меня...

– С нами пойдешь? – повторил Коба.

Я в ответ радостно засмеялся. Мы обнялись. И, положив руки на плечи друг друга, запели наши грузинские песни. Удалые и печальные.

Камо, восторженно глядевший на нас, сказал:

– Как же вы похожи! С таким сходством можно будет де-

лать большие дела.

Камо был абсолютно непредприимчив в жизни. Но во всем, что касалось террора, у него замечательно работала голова.

А тогда мы надрезали пальцы, смешали нашу кровь.

– До смерти вместе! – объявил Коба.

Сколько раз потом я вспоминал эту фразу...

## «Сила бессильных»

Именно так кто-то удачно определил Террор...

Мы собрали боевую дружину из двадцати человек. Камо беспощадно тренировал нас. Коба планировал наши нападения. И часто сам в них участвовал. Маленький, юркий и бесстрашный барс Революции, мой друг Коба.

Всего два десятка человек! Но мы держали в страхе Тифлис, Баку и Батумский порт.

Действовали мы быстро и внезапно. Внезапно нападали и внезапно исчезали. Научились растворяться в городской суете. Но чаще работали ночью. Мы тогда многое сделали. Брали дважды банки в Батуми, нападали на дворцы нефтяных магнатов в Баку, грабили каюты кораблей в Батумском порту и убивали полицейских.

Убивать оказалось не страшно. Мой первый убитый – охранник в порту...

В детстве мы с моим другом Гришей охотились с сачками на бабочек. Помню, Гриша бежал с сачком, наткнулся на камень, упал и какое-то время лежал на земле, нелепо выставив руку с сачком. И тот охранник, которого я подстрелил, лежал на земле, тоже нелепо выставив руку, так и не поймав свою бабочку. Темная жидкость натекла рядом с ним. Я не сразу понял, что это кровь.

Именно в Батуми Кобе изуродовали руку... Мы поджидаете

ли почтовую карету с жалованьем полицейским. Была полночь – любимое наше время. Как только показалась карета, пошли на штурм.

Но на этот раз охрана не растерялась. В рукопашной схватке Кобу сбросили с подножки кареты на булыжную мостовую. Экипаж с деньгами умчался, проехав по его руке. На место прибыла полиция, но мы уже ушли в горы. Камо на плечах вынес Кобу. Рука плохо срослась и плохо разгибалась в плече и локте...

Уже после Революции Коба придумал курить трубку. Согнутая рука, держащая трубку, маскировала этот дефект. И на тысячах тысяч картин Верховный главнокомандующий изображен с вечной своей трубкой в согнутой левой руке. Так что в ту страшную ночь мы с Камо стояли у истока славных произведений нашей живописи...

Наши грабежи назывались «эксами» – экспроприацией в пользу Революции. Через наши руки проходили сотни тысяч, но мы жили трудно, порой впроголодь. Все деньги и драгоценности Коба отсылал в Швейцарию Ленину. Вот почему мы с Кобой участвовали во всех съездах.

Именно тогда мы начали использовать наше сходство. Мы придумали обязательно разделяться во время терактов. Точнее, это придумал Камо. Если участвовал в деле Коба, я должен был пить и дебоширить в каком-нибудь дорогом ресторане. Или наоборот. И если Кобу или меня арестовывали, хозяин того заведения чистосердечно подтверждал: «Этот гос-

подин до утра был у меня». И на вопрос обвинителя: «Отвечаете ли вы за свои слова?» – хозяин только вздыхал и начинал перечислять убытки от дебоша. В результате ни Кобу, ни меня ни разу не арестовали за «эксы». Потому в дальнейшем Коба легко засекретит свою удалую жизнь. И после Революции он никогда не упоминал о наших подвигах. Он будто чувствовал, что в будущем они могут ему помешать.

Рассказывая о своей поврежденной руке, Коба придумал рождественскую сказочку о бедном маленьком мальчике, искалеченном в детстве колесами богатого экипажа... Но зато он не скупясь повествовал о геройствах Камо. Эти истории о беспримерной храбрости, дьявольской изворотливости, революционной жестокости нашего друга Камо стали романтической легендой нашей партии.

# Камо

Как и я, Камо совершенно терялся в присутствии Кобы.

Знаменитая партийная кличка Камо всего лишь издевательская шутка Кобы.

Однажды Коба поручил Симону отнести «камешки» ювелиру Нодия, скупавшему драгоценности, которые мы экспроприировали. Это были бриллианты, «изъятые» в доме бакинского нефтяного богача. Симон не расслышал фамилию ювелира. Привычно коверкая русский язык, спросил:

– К камо нести, дорогой, повтори, пожалуйста?

– Эх ты – «камо, камо», – засмеялся Коба. – Ты и вправду настоящий Камо! Давай будем тебя так звать – «товарищ Камо»? – И, прыснув в усы, заорал: – Эй, друг наш, товарищ Камо, отнеси эти камешки ювелиру Нодия!

Симон был южный человек, гордый и вспыльчивый. За насмешку над ним другой мог расплатиться жизнью. Но от Кобы он не только снес насмешку, но и согласился, чтобы издевательская шутка стала его партийной кличкой. Как и я согласился стать Фудзи...

## Деньги партии

Во всей партии только Ленин и еще один человек знали о подвигах нашей боевой дружины. Этим человеком был главный террорист партии Леонид Красин, партийная кличка Никитич.

Не забуду нашей первой встречи...

Сначала верный человек передал Кобе записку от Ленина. Нам предлагалось поступить в полное распоряжение некоего «товарища Никитича». Ровно в два часа мы должны были, «шикарно одетые», ждать его на Эриванской площади.

В два мы втроем подошли к месту встречи. Камо был в белой черкеске, я в элегантной тройке. Коба пришел в поношенном пиджаке, в нелепой феске и еще более нелепой ситцевой косоворотке. Усмехаясь, объявил:

– «Шикарно» приодеться не во что, бедный человек.

Кто мало знал Кобу, мог подумать, что так он протестовал. Дескать, гордец Коба не захотел подчиняться, да еще неизвестно кому. Но я-то его знал хорошо. Коба решил сначала выяснить, каково будет наше задание. Или... он уже был в курсе! И решил избежать прямого участия в деле. Он всегда все узнавал раньше других.

Подъехал великолепный экипаж, и оттуда вышел элегантный, с орхидеей в петлице, Красин. Он работал ведущим инженером в знаменитой немецкой фирме «Сименс», но это

была его «крыша».

Истинная жизнь Красина проходила в подполье. Им владели две страсти – женщины и бомбы. Я думаю, он и партийцем-то стал, чтобы изобретать новые бомбы. Его бомбами были убиты многие его знакомцы – царские чиновники, встречавшиеся с ним на балах и приемах.

В это время (как я узнал потом) Красин был одержим идеей сделать бомбу величиной с орех, чтобы можно было пронести ее в кармане смокинга. И прямо на балах взрывать «ликующих, праздно болтающих» своих знакомых.

Имелась у него и другая заветная мечта – создать огромную сверхбомбу. Сбросить ее с аэроплана на Александровский дворец. И разом покончить с царем, всей царской семьей и свитой.

На эти великие замыслы требовались великие средства. Он тратил на бомбы все свое большое жалованье, но не хватало... И он жил в постоянных поисках денег. Он попытался делать фальшивые ассигнации. В России не получилось, он перенес проект в Германию. Вышел на человека, который достал ему нужную бумагу с водяными знаками. Красин даже спроектировал станок для фальшивок, но немецкая полиция накрыла дело.

Теперь, когда он мучился безденежьем, Ильич нашел для него неожиданный источник финансирования. Огромные деньги! Но их надо было взять. За этим он и приехал в Тифлис.

## Задание партии

Итак, мы подъехали к самой дорогой гостинице в нашем солнечном Тифлисе.

Номер Никитича был великолепен. Нас буквально ошеломили люстры, мебель, зеркала.

Но задание ошеломило куда больше.

– Вам нужно выехать со мною во Францию, в Канны. Некий богач, близкий к нашей партии, решил покончить с собой. Он достойный человек и потому завещал партии все свои деньги. Но, к сожалению, вестей о его смерти нет... хотя мы их ждали неделю назад.

– Раздумал умирать, дорогой? – улыбнулся Камо.

– Умирать непросто, особенно богачу, – ответил Никитич. – И возможно... придется помочь ему. – Он усмехнулся и добавил: – Почему не помочь хорошему человеку? Ваши заграничные паспорта. – Красин передал нам три паспорта. – Вам заказаны номера в том же «Ройял-отеле», где живет и он. Это очень дорогой отель. И ваш гардероб должен быть соответствующим. Ваши черкески мне не нравятся. Сегодня вам доставят новые. Вы – трое грузинских аристократов, приехавших погулять во Францию...

– Я рядиться шутом не буду... – сказал Коба.

– Это я уже понял, – снова усмехнулся Красин. – Если не хотите рядиться шутом, вам придется стать слугою господ

«князей»!

Я ожидал взрыва, но, к моему удивлению, Коба только сверкнул глазами и промолчал...

Вечером нам доставили новые черкески. Утром появился Красин с портфелем. Наш вид ему понравился. Камо в белой черкеске выглядел роскошно. Думаю, и я был неплох... Коба по-прежнему оставался в пиджаке и феске.

– Вы здорово похожи с вашим «слугой», – сказал мне Красин. – Это бросается в глаза, привлекает к вам внимание. Потому наклейте-ка... – И он вынул из своего портфеля... эспаньолку и усы! Оценил мой восхищенный взгляд и добавил: – Да, это чудесный портфель. Обычно ношу в нем бомбы...

Я вышел из вокзального туалета бородатым.

Пропускаю путешествие и первые впечатления от Парижа. Мы с Камо отправились смотреть знаменитые Елисейские Поля – выставку роскошных экипажей и туалетов. Коба преспокойно улегся спать, он так и не вышел из номера.

# Убийство мецената

Утренним поездом мы вместе с Красиным выехали в Канны.

В номере каннской гостиницы Красин наконец назвал имя главного действующего лица: Савва Морозов.

Он был известен тогда всей России. Знаменитый богач и столь же знаменитый меценат. Но подлинную историю человека, которого нам предстояло убить, я узнал лишь потом. На свои деньги Савва построил здание Художественного театра. И здесь была не любовь к искусству, но вечное – «ищите женщину!». Савва Морозов, этот очередной Рогожин из Достоевского, влюбился страстно, «на всю жизнь» в актрису Художественного театра, первую красавицу русской сцены Марию Андрееву. Но Андреева играла не только на сцене.

Она играла и в жизни, причем в очень опасную игру. Она являлась членом нашей партии, агентом нашего ЦК. «Товарищ Феномен» – так называл ее Ильич.

Феномен умела заставить Савву раскошелиться и на ее роскошную жизнь, и на нужды нашей партии. На морозовские деньги издавалась ленинская «Искра» плюс две большевистские газеты – «Новая жизнь» в Петербурге и «Борьба» в Москве.

Фантастическими тратами Савва смог сделать невозможное – огромное состояние Морозовых начало таять. Возник-

ли проблемы с кредиторами. Но безумные деньги продолжали утекать, ибо продолжалась любовь. Мать и родственники надумали объявить Савву недееспособным. В довершение катастрофы бедняга узнал, что «любовь всей его жизни» изменяет ему! Причем изменяет с другой «любовью всей его жизни» – самым популярным тогдашним писателем и самым близким его другом Максимом Горьким. Савва впал в тяжелую депрессию. Он решил покончить собой. Именно тогда его хороший знакомец Красин предложил Морозову, умирая, отомстить родичам – оставить все состояние большевикам. В присутствии адвоката был составлен страховой полис. Все свои деньги Савва в случае смерти завещал Марии Андреевой. Она должна была передать их партии.

Покончить с собой Морозов запланировал в Каннах, где был когда-то так счастлив со своей красавицей. Однако в Каннах, вдали от дел, депрессия ослабела. К нему приехала жена, постаравшаяся заменить в постели изменницу. К тому же Савва начал играть в рулетку. Играл по-крупному, но очень успешно. Новая страсть совершенно захватила его, и он... отложил самоубийство! Обо всем этом следившие за Морозовым агенты партии сообщили Красину. Красин понял: деньги ускользают. И решил действовать. Нужны были исполнители. Ильич посоветовал нас... Но, повторяюсь, все это я узнал потом...

Расположились мы в гостинице превосходно. Я занял великолепный номер на этаже Саввы, недалеко от его апарта-

ментов. Камо поселился прямо над комнатами Саввы. Коба, как и положено слуге, занимал маленькую комнатку в роскошном трехкомнатном номере Камо.

Утром Коба завтракал в номере, а мы с Камо – в ресторане. Недалеко от нас завтракал Савва с женой. Меценат был говорлив и жизнерадостен. В это время в зал вошел Красин. Савва увидел его и отчетливо побледнел. Быстро закончил есть и поспешно, почти бегом, вышел из зала. Сомнений не было: Морозов решил жить.

Вечером Красин в моем номере изложил план. Завтра ближе к ночи у него назначена встреча с Саввой. В это время, как выяснило наблюдение, жены в номере Саввы не бывает. В восьмом часу она обычно отправляется в театр или в кабаре. На самом деле она встречается со своим любовником, который приехал в Канны следом за ней. И возвращается в номер за полночь.

Красин условился с Морозовым о встрече в половине одиннадцатого. В этот час уже темно, в саду рядом с отелем играет джаз-оркестр. Музыка заглушит звук выстрела.

План был такой. Красин придет в номер к Морозову, спросит об обязательстве. В это время Камо и Коба, пользуясь темнотой, бесшумно спустятся из номера Камо на огромный балкон номера Саввы. Там и затаятся. Если Красин уходит ни с чем, он поднимает правую руку. Тогда тотчас после его ухода Камо и Коба входят в номер через балконную дверь. Коба схватит Савву, удержит, пока Камо выстрелит в

висок. После чего вложит револьвер в руку Саввы...

Я в это время нахожусь в коридоре, обеспечивая прикрытие. Услышав выстрел, проверяю коридор. И по моему условному знаку «коридор пуст» они выходят из номера Саввы и переходят в мой – на том же этаже.

План мне понравился. Но тут заговорил Коба:

– Не странно ли будет такому солидному господину в богатой черкеске, – указал он на меня, – слоняться по коридору? То ли дело я – слуга! Может, меня послали вычистить сапоги или мой господин в номере даму принимает? – Он прыснул в усы. – Мое святое дело – торчать в коридоре!

Красин подумал, усмехнулся и согласился.

Итак, вместе с Камо я должен был теперь совершить убийство. А Кобе надлежало ждать выстрела в коридоре. Всего лишь!

Тут я окончательно осознал, зачем Коба придумал эту историю с бедной одеждой. То была его типичная шахматная партия: делая первый ход, он уже просчитал последний. Он с самого начала решил *не участвовать* в убийстве. Понимал: если полиции удастся напасть на наш след, убийство такой знаменитости навсегда останется в его биографии. А он уже тогда, клянусь, думал о своем великом будущем!

В тот вечер в своем огромном номере Савва готовился ехать на рулетку. В половине одиннадцатого Красин отправился к нему в номер. Коба занял свое место в коридоре и теперь разгуливал между моим номером и номером Саввы.

Я перешел в номер Камо.

В наступившей темноте по веревке, страхуя друг друга, мы с Камо бесшумно спустились на морозовский балкон. Мы не раз проделывали подобное в Баку во время нападений на дворцы нефтяных королей.

Теперь мы стояли за балконной дверью... И хорошо видели обоих. Савва уже был во фраке. Разговор, видно, проходил нервно, оба много жестикулировали. Вдруг Савва направился к балконной двери и, продолжая говорить, *открыл ее*. Мы замерли. Он постоял на пороге, но, к счастью, на балкон не вышел.

– Простите, сударь, мне было немного душно, – сказал Савва, вернувшись к столу.

Теперь в открытую дверь мы слышали разговор.

– Я не могу сейчас. Я вообще сомневаюсь... надо ли это делать.

– Голубчик, ну вы же обещали женщине! – продолжал уговаривать Красин. – В чем же сомнение?

– Это хорошо, если *там* ничего нет... А если есть? Ведь грех-то какой – самоубийство. Я все думаю: может, лучше в монастырь? Вы не бойтесь, я вам отдам часть денег.

– Нам части мало, милейший. В России – революция! Бомб сколько нужно! И каждая, поверьте, в большую копеечку обходится! А купцы ваши, повидав Революцию, перепугались, деньги отсылать перестали.

– Я вас очень хорошо понимаю. И сочувствую... Но пой-

мите и меня, сударь... Я не готов!

– Да что ж вы за дрянь-человек! Повторяю: вы обещали, голубчик. Извольте исполнить. Если бы я обещал...

– Вот вы и стреляйтесь. – И Савва положил руку в карман. «Ба, да у него револьвер», – подумал я и показал Камо на оттопыренный карман.

Камо кивнул, он тоже заметил.

– Вы решительно отказываетесь?

– Не отказываюсь, просто не могу.

Красин пожал плечами и повернулся уходить.

– До встречи *там*, сударь, – вдруг насмешливо сказал Савва. – Надеюсь, *здесь* вы меня более не потревожите.

– Надеюсь, *там* встреча не задержится, – усмехнулся Красин и, *подняв правую руку*, вышел из номера – элегантный и фрачный.

Как по команде, в саду громко заиграл оркестр.

В это время Морозов, что-то напевая, повернулся к зеркалу, поправил бабочку. Теперь он стоял на редкость удобно, виском к балкону. Так что хватать его за руки не пришлось. Камо выстрелил. Пуля попала точнехонько в висок. Савва рухнул у зеркала.

Я бросился к нему. Он лежал недвижно, спокойный и даже какой-то усмехающийся, с выражением, которое я часто видел у покойников: «Наконец-то от всех вас отдохну»... Пока я размышлял, Камо заканчивал дело. Он надел перчатку, вынул револьвер из брюк Саввы и вложил в его руку.

И тотчас раздался в дверь тихий стук Кобы, означавший: коридор пуст.

Надо было спешить. Выстрел наверняка был слышен сквозь музыку...

Мы благополучно покинули отель. На следующий день утром все газеты написали о «самоубийстве русского миллионера». Феномен после смерти Саввы получила огромные деньги и передала их партии.

# Битва за террор

А потом был Лондон. Здесь проходил очередной съезд Российской социал-демократической партии. Именно здесь мы с Кобой впервые увидели Троцкого.

...Он появился на съезде в ореоле славы. Приехал из России – из гущи Революции. В отличие от Ленина и прочих эмигрантов, страстно споривших в парижских и женеvских кафе о Революции, Троцкий ее делал. В последние дни великого Петербургского совета Троцкий был его вождем. Ему внимали тысячные толпы, а не кучка дымящих дешевыми папиросками и плохо слушающих друг друга эмигрантов.

Когда Троцкий поднялся на трибуну, маленький зал взревел от восторга.

Коба, бледный, злой, сверкая желтыми глазами, смотрел на этот неопиcуемый восторг. И шептал:

– Как они могут... этого жида!

Он не хотел знать никакого другого бога, кроме Ленина, он был ревнив.

Но никого, кроме меня, мнение Кобы не интересовало. Никому не было дела до неизвестного косноязычного провинциала...

Съезд стал триумфом не только Троцкого. На одном из заседаний выступил неизвестный дотолe оратор. Полный молодой человек с одутловатым еврейским лицом и русской

партийной кличкой – Зиновьев. Его блестящая речь потрясла делегатов. Помню, Зиновьева почти единогласно избрали в Центральный комитет РСДРП. И в Лондоне он сразу стал знаменитым. Сам Троцкий написал о нем восхищенную статью в партийной газете.

Только я знал, что испытывал мой самолюбивый друг Коба, наблюдая это стремительное возвышение молодого говоруна (опять – еврея!) и видя небывалую славу другого самовлюбленного еврея – Троцкого. При этом осознавая, что о его собственных, воистину великих заслугах партия никогда не узнает. О них был осведомлен лишь один из партийных вождей – Ленин. Но, как потом оказалось, – к счастью для Кобы.

На Лондонском съезде произошло нечто, для нас непоправимое. Один за другим выступили ораторы-меньшевики. Они говорили об очевидном – Революция в России умирает, и наши боевые дружины экспроприаторов все чаще превращаются в банды обычных грабителей. Приводили множество примеров, когда деньги от экспроприаций тратились боевиками на пьянство, проституток, кокаин. Все это отчаянно компрометировало партию. По предложению фракции меньшевиков съезд проголосовал за резолюцию, запрещающую террор и экспроприации. И принял ее.

Теперь мы становились как бы вне партийного закона.

Я посмотрел на Кобу – он только презрительно улыбнулся. Сразу после заседания исчез.

Перед отъездом я отправился в последний раз погулять по Лондону. Помню, как свернул с шикарной Брук-стрит на тихую улочку. В маленьком парке гувернантки пасли малышей, таких джентльменов – лилипутов в черных сюртуках и цилиндрах. Они играли в серсо.

Рядом с парком был дорогой ресторан. Бросив рассеянный взгляд сквозь витрину, я увидел... Кобу и Ленина! Ленин в серой щегольской тройке и Коба в своем вечном тогдашнем наряде – русской косоворотке, пиджаке и феске. Они о чем-то беседовали. Точнее, говорил, жестикулируя, Ленин. Я сразу почувствовал: этого мне видеть не надо. И торопливо скрылся.

На следующий день Коба сказал мне:

– Надеюсь, ты забудешь то, что видел.

– Знаешь, я уже забыл.

– Вот и славно, дорогой. Завтра выезжаю в Берлин вместе с Лениным, – (тот жил тогда в Берлине). – Там мы с Ильичем подробно оговорим план дальнейших действий. Намечается работенка.

Он панибратски сказал «мы с Ильичем», чтобы я понял: их связывали теперь какие-то отношения.

– Ты, – продолжил Коба, – завтра возвращаешься в Тифлис. Найдешь Камо, и подберете десятка два удальцов. Это вам на расходы. – И нищий Коба преспокойно передал мне сверток с ассигнациями. Большая была сумма, я бы даже сказал – огромная.

– Постановление съезда к... – Коба привычно выматерился и добавил: – Ильич давно возмущается, что Бог послал ему таких товарищей, как эти мудаки-меньшевики. В самом деле, что за народ все эти Мартовы, Даны, Аксельроды – жида обрезанные! И на борьбу с ними не пойдешь, и на пиру не повеселишься... Вот отменили боевые дружины... А на что жить будут, кофей попивать и по заграницам ездить, на что? Подпольные квартиры содержать – на что?

– А что мы скажем нашим товарищам? Все-таки постановление партии... – начал я.

– Скажем, что Революция в России провалилась. Интеллигенция от нас отшатнулась, бунт народный испугал говнюков. Денег от купцов теперь никаких. На морозовские деньги только и живем. Точнее, доживаем. Единственный способ добывать денежки – это по-прежнему экссы и боевые дружины. Ильич учит: «Плюйте на прекраснодушных! Революцию не делают в белых перчатках».

Я понял: все наши действия одобрены Ильичем...

Уже впоследствии я узнал, что тотчас после съезда, запретившего террор, Ленин создал некое тайное образование внутри партии. Это была «*тройка*». Ее существование скрывалось не только от полиции, но и от членов партии. Подполье внутри подполья. В «тройку» вошли: Ленин, неизвестный мне тогда большевик Сольц и известный мне Красин... Теперь эти трое руководили террором и экспроприациями.

Но, как и в нашем детстве, рядом с этими тремя «муш-

кетерами» был четвертый. Они придумывали, а он делал! Роль Д'Артаньяна опять исполнял Коба. И скажу с гордостью: я находился подле него!

С одобрения «тройки» Коба и начал организовывать наш главный подвиг – «тройке» стало известно, что в Государственный банк Тифлиса везут деньги из столицы.

# Великое ограбление

Вся наша боевая дружина, согласно постановлению съезда партии, вынуждена была сдать оружие. После чего мы с Камо выехали в Берлин... за новым оружием. Купленные новенькие револьверы хранились у Ильича в его берлинской квартире. Нам нужно было перевезти их через границу. Дело несложное, но с Камо, как говорится, не соскучишься...

Ленин, его жена и мать ждали нас в квартире. Двадцать новеньких револьверов лежали на столе.

Мы приехали вечером и всю ночь до утра обдумывали, как их провезти в Россию. Большие были споры! Ленин оказался в этом деле профаном. Но все придумала... его мать! Мы с Камо были тогда очень худые. И вдова действительного статского советника аккуратно развесила на наших спинах и на груди, на веревочках, по десятку револьверов. На них мы надели рубашки и пиджаки.

На следующий день два упитанных кавказца шли по Берлину.

На вокзал нас провожала жена Ильича Надюша. Надюша Крупская была тогда еще молода, но очень нехороша собой. Жидкие волосы, суховатая, пучеглазая (у нее были отчетливые признаки базедовой болезни). За эти глаза навывкате она получила партийное прозвище Селедка. Сам Ильич нежно звал жену Миногой. У них не было детей, и Надя болезненно

любила кошек. И вот по дороге на вокзал, на наше несчастье, она увидела беленького котенка, сидящего в раскрытом окне особняка. Она простодушно восхитилась:

– Какая прелесть этот котик!

Этого говорить не стоило! Рыцарь Камо подпрыгнул тотчас, причем удивительно высоко, в прыжке схватил котика и, вернувшись на нашу грешную землю, гордо протянул его Надюше – несчастного, жалобно мяукающего:

– Возьми, дорогая, если нравится.

К сожалению, хозяева котика были против. Из дома выбежал толстый бургер с социал-демократической карикатуры. За ним – жена в папильотках. Поднялся крик, обещали вызвать полицию. Этого мне, обвешанному револьверами, совсем не хотелось. Но Камо... Помню, с каким изумлением он смотрел на кричавших. Он сказал бургеру:

– Почему кричишь? Мне понравился твой котик, я взял. Если нравится что-нибудь у меня – тоже бери. Вот нравится тебе мой пиджак? Бери. Я что – против?

В припадке обычной своей щедрости Камо совсем забыл про пистолеты под пиджаком. Но, к счастью, я успел схватить его за руку, и мы ограничились извинениями и возвращением котика.

Камо был простодушен до глупости и хитер до мудрости.

Вскоре мы благополучно вернулись в Грузию с оружием для нашего маленького отряда.

Деньги было решено захватить, когда их повезут из почто-

вой конторы в отделение Государственного банка. Наши люди в банке сообщили: сопровождать деньги будет усиленная охрана – пять казаков, трое городских, три солдата-стрелка и банковские служащие. Поедут на двух экипажах, повезут двести пятьдесят тысяч рублей в одном мешке.

Это передал нам Коба. Он был в курсе всего, как обычно. Сообщил он и печальное: о готовящемся нападении узнали. Полиция усилила охрану вокруг почтового отделения. Но, к счастью, они не знали главного – где и когда мы нападём...

Нас было всего два десятка. Но у нас имелся филигранно проработанный план Кобы. Правда, в самом начале операция едва не сорвалась. Динамит очень капризен; делая бомбу, надо быть предельно осторожным. Камо же поторопился, и бомба взорвалась. Результат: его помощник убит, у Камо повреждена кисть руки, начал дергаться глаз. Но железный человек сказал:

– Пустяки!

И он наступил – наш главный день, 26 июня 1907 года.

Одиннадцать сорок утра. Полуденный жар привычно плавил город. Коба сидел на площади, в ресторане «Тилипучури» и, как полководец, готовился наблюдать за боем. С ним сидели трое боевиков – резерв.

Я стоял с бомбой на выезде с площади в сторону Солдатского рынка. Как обычно, Коба позаботился об алиби. На этот раз – о моем. За несколько минут до нападения он вызвал хозяина ресторана и шумно и долго скандалил – ругал

за плохое вино.

Ближе к полудню Эриванская площадь в Тифлисе всегда полна народа. Пестрая, веселая южная толпа, среди которой разгуливали наши боевики...

Еще в половине одиннадцатого две наши женщины, следившие за почтой, подали условный знак. Это означало, что кассир и счетовод Государственного банка получили на почте деньги и грузят их в фаэтон.

Фаэтон сопровождали два вооруженных стрелка, двое других уселись во втором фаэтоне, который должен был следовать за первым.

Оба фаэтона окружил казачий конвой. После чего сей поезд неторопливо тронулся.

В полдень он проехал вблизи дворца наместника и выехал на Эриванскую площадь. Одновременно на площадь вкатился наш фаэтон, в котором сидел мужчина в форме офицера полиции (Камо).

Поезд с деньгами уже начал сворачивать с площади, когда сверху, с крыши дома князя Сумбатова, наш товарищ швырнул в него разрушительную бомбу. Взрыв получился страшной силы, вылетели все окна во дворце князя и во всех домах в округе. Одновременно началась пальба с тротуаров, в фаэтоны полетели бомбы. Трое казаков конвоя пали замертво, двое городских улеглись рядом... По тротуару ползали, стонали раненые прохожие. На площади началась паника. Поезд поневоле остановился. И тогда в огне, в дыму наши бо-

евики ринулись в фаэтон. Вышвырнули оттуда обоих стрелков... Но больше там ничего не было. К счастью, Камо понял: ошиблись! Остановили не тот фаэтон. В это время испуганные кони уже мчали прочь с площади второй фаэтон – с деньгами. Тогда Камо, изображая офицера полиции, матерясь и стреляя, погнал свой экипаж за ним.

Коба не зря поставил меня на выезде с площади. Упряжка с деньгами мчала прямо ко мне. И тогда я бросился наперерез и швырнул бомбу под ноги лошадям. Помню: попадали лошади, попадали прохожие... Меня отбросило на мостовую. В грохоте, в дыму Камо и наши ребята ринулись в остановившийся экипаж. Выкинули на мостовую несопротивлявшихся, обезумевших от ужаса счетовода и кассира. Вынесли злосчастный мешок. В нем оказались почти все двести пятьдесят тысяч... Не хватало только девяти тысяч, их должны были везти завтра. Передавая мешок из рук в руки, в считанные секунды мы перебросили его в фаэтон Камо. Туда же швырнули контуженного меня – на мешок с деньгами... И помчались прочь. Никогда не забыть мне зверское лицо Камо и то, как он стрелял в упор в появившегося перед фаэтоном казака...

Падает навзничь казак, оторопело наблюдают городовые...

И в следующий миг все исчезло – и мы и фаэтон. Растворились в жарком воздухе...

Добычу сначала хранили у меня под обивкой дивана. По-

том переправили за границу нашим. Эти деньги и стали западнею для многих из них.

Купюры были крупные, по пятьсот рублей, и по наивности (неопытности) мы не предполагали, что номера их переписаны. Номера тотчас были сообщены русским и европейским банкам. И наши товарищи попадались при попытке разменять их за границей.

Попался в Берлине и сам Камо...

Русская полиция потребовала его выдачи. Если бы его выдали, наверняка – петля. И вот тогда он совершил самый фантастический из своих подвигов. Симулировал безумие. Он сотворил невозможное. Его проверяли берлинские психиатры, тогда – лучшие в мире. Три года он водил их за нос. Три года они верили и лечили его. И наконец, решив, что он безнадежный, выдали его России для... дальнейшего лечения. Он и здесь симулировал безумие столь же успешно. А пока его лечили, он... бежал!

Я увидел Камо в Баку после побега. Он очень изменился – поседел, кожа как-то сморщилась, постарел лет на двадцать. Но смеяться не разучился. Он рассказал мне:

– Они, конечно, свое дело знают, науку свою знают... Но вот кавказцев не знают. Уверяю тебя: им всякий кавказец покажется сумасшедшим! Потому что он свободен. Помнишь, как на меня вылупился тот немец с кошкой. Он не мог понять, что я взял его кота потому, что я свободный в своих желаниях, в своей доброте. – Помолчав, он добавил: – И еще!

Есть такое понятие – «революционная ярость». Я не понимал раньше, брат, что оно значит. А вот тогда, стоя перед докторами, понял! Сытые стоят, уверенные в себе! А я все вспоминал, все видел тебя на мешке с деньгами, Эриванскую площадь и убитых, и кричащих раненых! И пришел в ярость, думаю: так вас разэтак! Я вас перехитрю! И перехитрил!..

И я тоже часто вспоминал: уносившийся фаэтон, мертвые казаки, стонущие, изуродованные прохожие... Кровь...

Много крови всюду, где появляется мой друг Коба.

В то время из-за этих проклятых похищенных денег попался и я. Я закупал на них запалы для бомб. После моего провала было решено оставшиеся купюры – почти сто пятьдесят тысяч – уничтожить. Не принесли нам пользы эти деньги в крови...

Из тюрьмы я бежал. Приехав в Грузию, узнал: Коба влюбился.

## Любовь и смерть

Это случилось на дне рождения Алеши Сванидзе. Алеша, красавец сван с голубыми глазами, был теперь большевик, подпольщик, наш товарищ по партии.

В тот вечер рядом с ним стоял узкоплечий, тщедушный, какой-то ущербный Коба. Как же нелепо и жалко он выглядел в сравнении с Алешей. Да и с другими джигитами, пришедшими тогда на праздник... Все мы были в щегольских черкесках, а Коба – по-прежнему в косоворотке, пиджаке явно с чужого плеча. На голове – вся та же нелепая турецкая феска.

Присутствие стольких щеголей объяснялось просто. Красота – семейная черта Сванидзе. И сейчас все взгляды были обращены в угол комнаты. Коба глядел туда же – горящими глазами.

Там на стуле сидела она – Като. Екатерина Сванидзе, сестра Алеши. Сидела чинно, скромно, как и полагается хорошей грузинской девушке.

– Я хочу жениться на ней! Она мне будет настоящей женой, Фудзи... – Все это он шептал мне, догадываясь, конечно, что и я был влюблен в нее. Но ему, как всегда, это было безразлично. – Как же она хороша! – продолжал шептать Коба. – И, слава богу, не похожа на наших блядей-товарищей. – Это он о свободомыслящих революционерках, ски-

тавших по нелегальным квартирам и заодно по постелям революционеров. – Она настоящая! Женюсь! Иди, знакомь меня с нею...

Я хотел возразить, но... Но повел его к ней!

...Он подчинил ее сразу, как всех нас. Впоследствии Папулия Орджоникидзе кому-то объяснял: «Да, маленький, да, рябой. Но зато в нем есть эти чары... любимого у нас, кавказцев, романтического разбойника, грабящего богатых во имя бедных. Наш национальный герой – это всегда Робин Гуд».

Думаю, он не прав. Екатерина была набожная девушка, и рассказы о делах Кобы могли ее только напугать. Коба подчинил ее не делами, а глазами. В его взгляде, клянусь, таился некий, если определить упрощенно, «магнетизм, пока неизвестный науке». Во всяком случае, уже через неделю бедная красавица смотрела на него такими же собачьими, преданными глазами, как все мы, давно ставшие его верными псами...

Когда он предложил ей стать его женой, она тотчас, без колебаний, счастливо согласилась, но... Она была так же религиозна, как его мать. И мучилась, не смея попросить его. Но он сам предложил: «Будем венчаться».

Представляю ее счастье, когда он сказал ей это.

Думаю, это было последним ее счастьем...

Мне он объявил кратко: «Венчаемся завтра. Ты придешь, но об этом никому ни слова. Никто не должен знать. Будешь

только ты и Алеша».

Еще бы! Церковный брак считался позором для революционера. Я не помню другого случая, чтобы революционер-интеллигент не только женился на верующей, но еще и венчался с ней.

Но, убивая и влача безбытное существование подпольщика, мой друг Коба мечтал о настоящей семье. О семье, которой был лишен в детстве. Создать такую семью могла только невинная, религиозная девушка. И он нашел ее... на ее беду.

Коба хотел, чтобы все было, «как у людей». Он решил быть нарядным на венчании. Мы с ним одного роста и одного сложения. Я предложил ему свою весьма элегантную «тройку», но он предпочел пиджак куда великолепнее. Этот пиджак был у третьего «мушкетера» – у нашего друга детства огромного Пети. (Петя в это время стал известным борцом и сильно разбогател.)

В маленькой церквушке они стояли перед старым священником: высокая красавица со счастливыми глазами и маленький рябой Коба в роскошном пиджаке, который был ему уморительно велик.

После церемонии я передал священнику деньги от Кобы – для бедных.

Священник взял деньги, вздохнул и вдруг сказал:

– Несчастливая девушка. Передайте ей, что я буду молиться... – Он помолчал и добавил: – *За него...*

Теперь они жили в Баку. Она работала швеей. Коба по за-

данию Ильича продолжил наши подвиги на нефтяных промыслах. Он обложил хозяев нефти налогом – и в случае невыполнения мы немедленно поджигали нефть или организовывали забастовки.

Помню, как однажды Коба не получил обещанных денег.  
– Ничего, – сказал он. – Утром заплатят вдвое.

И уже вечером багровое зарево встало над промыслами.

Мне он приказал:

– Поезжай в контору, передай: если денег не будет к утру, сожжем все хозяйство.

Передавать ничего не пришлось. Как только я вошел в здание администрации, ко мне бросился приятнейший господин – сама услужливость:

– Вас ждут!

В кабинете мне молча передали портфель с деньгами.

Из всей огромной суммы Коба оставил себе жалкие копейки, он по-прежнему вел полунищую, бродячую жизнь. Только теперь в этой жизни появилась еще одна несчастная – его жена. Боже, как же я ее жалел!..

За нами, конечно, должна была охотиться полиция. Должна была, но...

«Воруют» – такое самое краткое определение России дал наш великий историк. Коба щедро платил бакинской полиции из тех средств, которые мы получали от хозяев промыслов. Полиция была у него на содержании! Она как бы тоже стала участником революционного движения.

Но береженого и Бог бережет. Как правило, Коба ночевал на нелегальных квартирах. Как и положено, все время меняя жилища. Бедную жену он посещал внезапно и только глубокой ночью, чтобы исчезнуть на рассвете. Иногда опасался приходиться в свой дом неделями.

В те нечастые дни, когда он появлялся дома, его сопровождал я. Я должен был отстреливаться, если нагрянет полиция, чтобы он мог уйти. Он говорил:

– Мне нельзя попадаться, Ильич и партия останутся без денег. Ты отсидишь за меня.

До смерти буду помнить их маленький глинобитный домик на промыслах. Так похожий на дом его детства. Но нищее их жилище, в отличие от того дома, сверкало чистотой. Екатерина работала швеей, и все было покрыто ее вышивками и белым кружевом.

Я спал в крохотной прихожей за дверью, точнее, за простыней, повешенной вместо двери. И слышал их голоса:

– Как же я по тебе скучаю... Когда ты еще придешь?

– Приду.

– Вдова... при живом муже.

– У товарища Кобы две жены: ты и Революция. И он должен избегать ареста. Так велит ему вторая жена. – Он уже тогда начал говорить о себе в третьем лице.

– Первая жена. Так вернее, – заметила она.

– Ты права. Она первая. Она – главнее.

И я должен был все это слушать. Я, любивший ее! Да, я

любил ее! Однажды мне даже показалось...

В тот день она смотрела на меня с невыразимой нежностью. И когда я уходил, сказала:

– Приходи почаще. Я так люблю на тебя смотреть... Ты так похож на него... Иногда мне кажется, что он тебя поэтому посылает ко мне... чтоб его не забывала.

Она родила ему мальчика. Сына назвали Яковом.

Как-то он не приходил целый месяц и, наконец, послал к ней меня с жалкими деньгами. Она мне сказала, краснея:

– Я теперь с грудным младенцем. Мы уже не сводим концы с концами. Может, пришлет... немного побольше?

Я передал Кобе.

– Ты знаешь, я презираю деньги, – ответил он мне. – Они всего лишь часть проклятого мира, который мы пришли уничтожить. Мы построим мир, где не будет жалких денег. Скажи ей это, и пусть она потерпит. Я ведь все отсылаю на нужды партии. Ленин требует. Пусть сидят побольше в библиотеках. Марксизм – это компас. Без него как им вести наш корабль? Да и полиции надо платить...

Потом она заболела... У нее оказался туберкулез, и она стремительно угасала. Мальчика перевезли в семью ее родителей. Вскоре я отвез к ним и ее.

Екатерина всю дорогу молчала, только кашляла. Она стала прозрачная, и кожа будто светилась. И только когда я уходил, попросила:

– Пусть он придет... побыстрее... хоть на минутку. Ты пе-

редай.

Но в дом ее родителей Коба не приехал.

И тогда она вернулась в их жалкий домик – умирать.

Когда Коба понял, что она умирает, он стал безумный.

– Не уходи, – шептал он. – Голубка моя, только не уходи...

Подожди.

Он схватил меня за пуговицы и закричал:

– Беги за врачом! Вези его!

– На какие шиши?

Он оттолкнул меня и выбежал из дома. А я сидел и смотрел, как она угасает.

Она вдруг открыла глаза и сказала:

– Спасибо вам, милый Фудзи... за все.

И я понял – она все знала.

Она добавила:

– Позаботьтесь о нем... ради меня.

Я не успел ответить. Раскрылась дверь... Он привез самого лучшего, самого дорогого доктора в Баку. Как потом выяснилось, он ворвался к нему в дом, угрожая ножом, посадил в экипаж.

Первым вошел врач. Коба шел за ним и долбил одно и то же:

– Слушай, вылечи ее, друг. Лечи, лечи ее, дорогой... Я заплачу. Много. Очень много. Сколько ни скажешь, все достану. Я клянусь!

Доктор велел нам выйти из комнаты.

Мы стояли за занавеской, а он осматривал Екатерину.

Коба сказал мне:

– Постереги его, я быстро, – и опять исчез в ночи.

Наконец доктор поднял занавеску:

– Где ваш друг?

– Он просил подождать. Он очень скоро вернется.

Доктор печально усмехнулся и сел у стола.

Коба и вправду вернулся почти тотчас. Молча выложил на стол перед врачом гору ассигнаций. Убил он кого-нибудь, ограбил или где-то поблизости был партийный тайник – я не знаю.

– Возьми все, дорогой, только лечи.

– Заберите ваши деньги, – сказал доктор. До сих пор слышу, как брезгливо он это произнес. – Я уже не нужен вашей жене, ей нужен священник. Туберкулез... И крайнее истощение... Мне – поздно.

Коба окаменел. Потом начал что-то шептать. Затем сел у кровати прямо на пол, уткнул голову в ее руку. Она гладила его другой рукой по волосам, а он в голос заунывно плакал. Тогда только я узнал, что он умеет плакать. А доктор стоял у двери-занавески и смотрел на них.

– Какая же она красавица, – сказал он. И ушел...

Она отошла тихо, ночью. Как она была красива в гробу!

У меня сохранилась фотография: Коба с всклокоченными волосами стоит над ее гробом, испуганный, несчастный, потерянный. Рядом – ее родители.

Меня на фотографии нет, потому что я снимал.

В следующий раз мы встретились с Кобой через несколько лет – в ссылке в Туруханске. Я не пишу ни о своих революционных делах, ни о своей жизни в это время. Потому что рассказ мой о нем – о Кобе.

# Тайна Кобы

Кажется, это случилось в 1913 году. Кобу арестовали в Петербурге на благотворительном вечере. Это был обычный благотворительный вечер в пользу неимущих студентов. На самом же деле там Коба собирал деньги для партии.

Он жил в это время в подполье, на нелегальной квартире в узенькой комнатухе для прислуги. И оттуда должен был руководить фракцией большевиков в Думе. Впрочем, руководить – это слишком сильное слово. Его задача была передавать думцам указания Ленина, которые Ильич регулярно присылал из-за границы. (Точно так же, как я руководил в свое время грузинскими большевиками – передавал им указания Ленина.)

В этой комнатухе он ютился не один. Здесь же скрывался другой большевистский руководитель – некто Арон Сольц, задыхающийся от астмы крохотного роста еврей-фанатик, помешанный на идеях Маркса. О чем бы с ним ни говорили, он вспоминал цитату из Маркса. И вступал с собеседником в яростный спор.

Кобе и Сольцу вдвоем приходилось ночевать на одной узкой кровати. Сольц был глуховат и сильно храпел. Коба подолгу не мог заснуть.

Здесь я позволю себе небольшое отступление. Отношение Кобы к этому Сольцу казалось мне всегда загадочным. И не

только мне...

В начале тридцатых Сольц получил квартиру в знаменитом Доме на набережной, где жили известнейшие старые большевики и многие руководители партии и государства. Жил там тогда и я.

В тридцатые годы Сольц занимал видное место в Комиссии партийного контроля и в Верховном суде. За бессребреничество и принципиальность его именовали «совестью партии».

Помню, в 1936 году, в годовщину Октябрьской революции, в дни начавшегося террора, когда в нашем доме арестовывали каждый день, Сольца пригласили сделать доклад в Музее революции. Он вышел на трибуну и после града цитат из Маркса перешел к событиям Революции. Вместо того чтобы называть ее, как было тогда положено, «Великая Октябрьская социалистическая», он именовал ее, к большому испугу слушателей, «Октябрьским переворотом». То есть так же, как и мы все в 1918 году.

Его тотчас поправил председательствующий. Сольц немедля затеял с ним спор. Председательствующий, совершенно потерявшись, сослался на Сталина:

– Великий товарищ Сталин, который вместе с великим Лениным был отцом Великой Октябрьской революции, называет ее именно так!

В ответ непреклонный Сольц немедленно сообщил:

– Товарищ Сталин никакого отношения к Октябрьскому

перевороту не имеет, в дни переворота мы о товарище Сталине ничего не слышали.

Возмущенные, точнее, насмерть перепуганные слушатели попросту стащили его с трибуны. Все это при мне рассказал Кобе тогдашний глава ОГПУ Ежов.

– Негодяя Сольца, думаю, мы сегодня же арестуем, – закончил Ежов.

– А ты не думай, – вдруг мрачно осадил его Коба, – думать буду я. Сольца оставь в покое, а вот мерзавцев-провокаторов, пригласивших этого сумасшедшего, отправь туда, где им и надлежит быть.

Организаторы вечера отправились «туда, где им надлежит быть». Сольца же поместили на неделю в психушку. Потом вернули в наш злосчастный дом. Правда, все свои должности он потерял, но в партии остался...

В 1938 году, когда Коба заботливо добивал ленинскую гвардию, Сольц написал ему гневное письмо, где последними словами клеймил главного прокурора на всех процессах Андрея Вышинского. Коба в бешенстве разорвал письмо и велел Сольца отправить... снова в психушку. Ко всеобщему изумлению! Ибо всех отправляли в это время совсем в другие места. Сольц вновь вернулся из психушки живой и невредимый. Я встретил его, спокойно гуляющего во дворе нашего Дома на набережной.

Коба его загадочно щадил. Более того, Сольц получал персональную пенсию старого большевика. И пожалуй, только

я знал почему.

Это и была одна из тайн Кобы.

Уже в 1907 году распространился упорный слух, что Коба, барс Революции, бесстрашный боевик-provokator. Особенно неистовствовал один из самых влиятельных наших кавказских большевиков – Шаумян. Помню, как он приехал ко мне ночью. Размахивая руками, трясая черной гривой, сильно плюясь, он кричал со всем нашим южным темпераментом:

– Ты его друг! Объясни, дорогой, как это ему удается так легко бежать из ссылки... И не один раз, и не два. Полиция у нас злая и умная. На собственной шкуре знаю, и ты знаешь. А вот с ним – добрая и глупая. Почему, дорогой? Объясни нам, пожалуйста, как ему удается, убежав из ссылки, с его рябой грузинской харей и с русским паспортом проехать за границу через всю Россию? Хотя он в розыске, его фото лежит во всех жандармских отделениях, на всех крупных станциях?... Молчишь? И правильно! И еще... После побегов из ссылки, как все знают, опасно появляться в тех местах, где ты жил до ареста. Он же преспокойно, как говорят по-русски, «живет-поживает и добра наживает» в тех же местах... К примеру, в Тифлисе. И еще! Год назад меня арестовали на конспиративной квартире, о ней знали только я и он. Вчера полиция совершила набег на нашу типографию, о которой опять же знали я и он. Мы его спрашиваем: «Как могло случиться такое?» Он с усмешкой: «Я выдал. Если хочешь так думать – думай. Мне это не мешает». И ушел...

– Но Коба устраивает забастовки, пожары на промыслах, добывает большие деньги для партии! – жалко возразил я.

– Про промыслы лучше не говори! Ты все понимаешь сам! После каждой такой забастовки, после каждого вашего поджога цены на нефть скачут вверх, и хозяева только потирают руки. Они с удовольствием платят не за то, чтобы вы не устраивали забастовки, а за то, чтобы их устраивали! И за пожары платят... А рабочие после таких забастовок как получали гроши, так и получают!

Он замолчал. Молчал и я. Потом Шаумян вынул из пальто браунинг, положил на стол:

– Есть постановление Бакинского комитета РСДРП о борьбе с провокаторами. Ты его друг.

Ты – кавказец. И тебе смывать наш общий кавказский позор. – Он протянул мне бумагу. – Мы тут составили прокламацию. Положишь на поганое тело. Даем тебе два дня.

Я взял браунинг, бумагу отдал ему. И сказал:

– Мы все очень горячие парни. Нельзя такое решать без Ильича. Поезжай к Ильичу. Расскажи ему все, и, если он решит, клянусь: я его убью. В тот же день убью.

Ночью я отправился на промыслы к Кобе. Екатерина тогда еще была жива. И он решил, что я от нее.

– Нету денег, – сразу начал он.

Я грубо прервал его и передал все. В заключение сказал:

– Тебе надо бежать.

Помню, наступила тишина. Если бы он согласился бежать,

я, пожалуй, тотчас убил бы его. Но его глаза, бешеные, желтые, уперлись в меня.

– Ай, ай, ты тоже поверил? Еще другом называешься! К Ильичу ты правильно отправил. За это спасибо. Может, за это я тебя прощу...

Уже через день Кобу арестовали! Это часто делала полиция, спасая от нас раскрытых провокаторов. В тот день я пожалел, что не убил его.

Вскоре из Женевы (Ленин был тогда там) вернулся Шаумян. Я понимал: узнав о поспешном аресте Кобы, он устроит мне веселую жизнь!

И вот мы встретились с ним. Но вместо того чтобы начать кричать, к полному моему изумлению, Шаумян благостно сообщил:

– Нашего бедного Кобу ссылают на север. Я слышал, у него ни денег, ни теплой одежды. Давайте соберем ему деньги...

Я понял, что это и есть удивительный результат его поездки к Ильичу. И попросил его рассказать о разговоре с Лениным. Вместо рассказа он молча показал мне бумагу. Несколько строчек, написанных Лениным. Причем, подчеркивая их важность, Ленин написал их на бланке ЦК РСДРП: «*Всякий, кто будет продолжать клеветать на товарища Кобу, будет немедленно исключен из рядов партии. Ульянов.*»

– Но что же все-таки сказал тебе Ильич?

Шаумян только усмехнулся и... промолчал. В нашей пар-

тии все было тайной, к этому я уже тогда привык.

Арестованного Кобу отправили в очередную ссылку на север. Из ссылки он снова сбежал с обычной легкостью. Потом было знаменитое, уже описанное мною нападение на Эриванской площади.

После чего мы с Кобой долго не виделись. Мне пришлось покинуть Россию, я жил в эмиграции за границей. До меня доходили слухи, что Коба еще раз арестован и опять все так же странно легко бежал из ссылки. В это время его избрали в ЦК – по личной протекции Ленина.

Причем после очередного побега Коба умудрился проехать в Вену. Хотя на всех железных дорогах лежала очередная жандармская телеграмма с приказом о его поимке, с описанием примет и фотографиями. Узнал я также, что он совсем отошел от эксов и боевой наш отряд распущен...

Теперь Коба жил в Петербурге на подпольных квартирах. В это время и случился тот самый благотворительный вечер, где его арестовали в шестой или седьмой раз (не помню точно).

Но на этот раз его отправили в гибельный край – в Туруханск. Я был уверен, что оттуда, как обычно, он легко сбежит. И ждал его в Питере. Но, к моему изумлению, в Питере он не появился. Вместо этого из Туруханска начали приходить жалобные письма. Несколько человек, близких к Ильичу, – Крестинский, семья большевика Аллилуева, с которыми Коба дружил, и я – все мы получили похожие послания.

Коба жаловался на голод, холод, нищету. У меня сохранилось такое письмо ко мне, написанное по-грузински:

«Кажется, никогда еще не переживал такого ужасного положения. Деньги все вышли, у меня подозрительный кашель в связи с усиливающимся морозом. Здесь нет овощей. Мне нужно запастись на зиму хлебом и сахаром, нужно молоко – согреть легкие, нужны дрова... но нет денег, здесь все дорого. От губительного климата, однообразия пейзажа – тупой снежной равнины, низкого стального неба, тьмы полярной ночи – нам, привыкшим с детства к горам, буйным рекам, зелени, солнцу и голубой лазури, легко сойти с ума...»

Но вместо того чтобы, как обычно, бежать из этого ужаса, он почему-то покорно продолжал жить в нем.

Я не смог ему помочь. Меня самого арестовали в начале 1913 года... Но через год началась Первая мировая война, и арест спас меня от призыва на фронт.

Меня отправили в село Монастырское, в тот же Туруханский край следом за моим другом.

Это было ужасное путешествие. Арестантский вагон показался мне адом (хотя он был раем в сравнении с арестантскими вагонами Кобы, которые мне придется увидеть впоследствии). Длинный, бесконечный путь. Через зарешеченное окошечко – облака, леса, уральские горы... А потом – печаль и раздолье сибирской равнины... Пересадка на телеги в лютый мороз. На телегах въехали в Красноярский край. Потом лошадей сменили на оленей... Затем оленей поменя-

ли на собак с нартами. По замерзшему Енисею приехали на край света в село Монастырское.

Село считалось культурным центром в этом диком и пустынном краю. Здесь были школа, церковь, полицейские власти. Жил здесь и сам полицейский пристав. Сюда ссылали важных политических заключенных.

Но Кобы в Монастырском я не нашел. Оказалось, его отправили жить в Курейку, где жили революционеры как бы второго разряда...

Курейка – крохотный поселок, затерявшийся за Полярным кругом в беспредельной снежной пустыне. Две сотни километров севернее нашего Монастырского – за краем света. Коба был прав: в Туруханском крае не произрастали ни хлеба, ни овощи. Но насчет голода он поэтически преувеличил: бескрайний Енисей был полон рыбы. Попадались такие гигантские осетры – человек не дотащит! И хлеб был дешев – жители пекли его сами и вдоволь. Но для нас, детей солнечного юга (здесь он опять прав), это были гибельные места. Свирепая зима с лютыми морозами и бесконечной ночью. Черная мгла тянется круглые сутки. Изю дня в день! Наконец проклятая полярная ночь сменяется холодом и сыростью, пробирающими до костей, – наступает полярное «лето». Под стальным, ножевым небом, закрывая его, поднимаются беспощадные тучи мошкары. И вокруг – однообразие, мучающее наш грузинский взор. Наверху – унылое небо без конца и края и столь же унылый, ровный простор без конца

и края – внизу... В этом треклятом месте остановилось время. Здесь овладевает безнадежность. Наши товарищи порой не выдерживали – кончали с собой.

Тогда по всей стране шли непрерывные торжества – трехсотлетие Дома Романовых. Иногда до нас доходили газеты, и мы с отчаянием читали описания празднеств в Петербурге и Москве и невиданного прежде народного энтузиазма. Захлебываясь от восторга, газеты повествовали о путешествии царской семьи в Кострому – в Ипатьевский монастырь. В Смутное время здесь спасался отрок Михаил Романов, здесь началась династия Романовых. Царская флотилия «под грохот салюта, звон колоколов и под громовое „ура“ причалила к „царской“ пристани у Ипатьевского монастыря...». И фотографии: восторженные, тысячные толпы, заполнившие берега Волги!

Каково было нам, ссыльным, в забытом Богом краю читать все это! Строй казался вечным, как египетские пирамиды. Но когда мы читали про всенародные славословия в Ипатьевском монастыре, История уже готовила Романовым подвал Ипатьевского дома! Однако этого никто из наших лидеров не предвидел. Ленин с печалью признавался в письме к своему другу, одному из вождей нашей партии, редактору «Правды» Льву Каменеву: «Нет, не увидит нам революции при жизни». Действительно, какая революция, если десятки тысяч человек гигантским хором поют «Боже, царя храни!».

Потом началась мировая война. К нам в Монастырское

привезли арестованных большевиков, членов Государственной думы. Среди них знаменитости – тот же Каменев и рабочий Муралов, думский депутат, блестящий оратор, фото которого в царской арестантской одежде часто висело в домах большевиков. (Его фото в советской арестантской одежде хранится у нас на Лубянке. Как и фото Каменева. Коба расстреляет обоих.)

Как-то я решил навестить в забытой Богом Курейке своего горемычного друга Кобу. Это значило: двести километров на собаках, в открытых санях, в лютый мороз.

Мне рассказали, что в Курейке «наших» (большевиков) нет.

Правда, прежде в одной избе с Кобой жил уральский большевик Яков Свердлов. Но Свердлов сделал все, чтобы переехать в Монастырское.

Прежде чем отправиться в Курейку, я решил переговорить с ним.

Яков Свердлов – малорослый, узкоплечий очкарик с копной черных волос. Этот сын еврейского купца из Екатеринбургa сделался революционером после жестоких еврейских погромов, прокатившихся по России. Он был типичным революционером второго разряда. Но когда началась война, все наши главные вожди оказались в эмиграции или в тюрьмах. Людей не хватало. Те, кто знал Свердлова, сообщили Ильичу, что он «человек бешеной энергии». И Ленин, тогда даже не знакомый с ним, сделал его членом большевистско-

го ЦК. Вот так Свердлов появился в Петрограде. Но вместе с Кобой его тотчас арестовали. (Его и Кобу выдал один из тогдашних большевистских вождей. Но об этом позже.)

Свердлов рассказал мне: «Жить с Кобой было невозможно. Ляжет к стенке лицом и молчит. Спрашиваешь: „В чем дело?“ Не отвечает. И так порой целую неделю. Это у тебя, Фудзи, отец богатый, ты служанку можешь нанять. А мой мне не помогает, нам здесь все надо самим: стряпать, мыть посуду, убирать комнату. Коба никогда ничего этого не делал. Скажешь ему: „Твоя очередь мыть посуду, почему не моешь?“ Молчит. Готовить еду придумал так невкусно, что мне пришлось готовить за двоих. Но мою уху он очень любил... Тяжелый человек! Я не знал, как унести от него ноги, буквально убежал оттуда...»

Пристав взял немалую взятку. Поездку в Курейку разрешил и назначил стражника сопровождать меня.

Был обычный зимний день: то есть мороз сорок пять градусов, черная полярная ночь. Я сел в нарты, со мной рядом – стражник, он же управлял ими. Полетели нарты!..

Замерзший Енисей – ледяная пустыня. Вышла луна, все засверкало: заискрились ледяные торосы, снег стал призрачно-голубой. Безмолвие, торжественный покой, только яростный скрип под полозьями. Но вдруг резко задул ветер, скрылись звезды, завьюжило. Началась пурга! Ресницы вмиг покрылись льдом, лицо – ледяная корка, трудно дышать...

И вдруг... затих ледяной вихрь. Затих внезапно, как и

начался. Все вокруг осветилась каким-то тайным небесным светом. Я смотрел на небо – Боже, какая неземная красота! Я шептал забытые детские молитвы... Вот так, на пути к Кобе, я впервые увидел северное сияние и вспомнил о Боге...

Поселок Курейка – это всего несколько разбросанных деревянных домишек.

В том месте, где маленькая быстрая речушка Курейка впадает в бурный полноводный Енисей, на небольшом холме стояла деревянная изба. Это и был дом Кобы. Но сейчас, когда обе замерзшие реки слились с землей в одно снежное пространство, он находился посреди бескрайнего белого поля.

Я вошел в избу в облаке пара. Нас со стражником встретила в сенях хозяйка – сухенькая женщина лет пятидесяти. Поздоровались.

– Постоялец твой где?

– Лежит на койке. Где ж ему быть!

Я дал ей деньги, попросил отогреть и накормить моего полицейского, который с удовольствием оставил нас с Кобой наедине.

Когда я вошел в комнату, Коба лежал лицом к стене на лежанке, он даже не повернулся.

– Здравствуй, Коба.

Молчание.

Я огляделся. В центре маленькой комнаты стоял круглый стол с керосиновой лампой. У стола – венский стул с гнуты-

ми ножками, странновато смотрящийся в этой избе. У стены – продавленный диван. На стене, над диваном, висел капкан, в углу на полу валялись сети. Наконец он произнес, по-прежнему не оборачиваясь:

– Садись, дорогой... – И закашлялся.

– Ты болен?

– Я здесь всегда болен. Скоро заболеешь и ты. Мороз сорок градусов у них называется «оттепель». Мне нужно молоко, много дров, запас сахара и хлеба. Здесь все дорого. У меня нет богатых родственников, мне положительно не к кому обратиться. Точнее, я уже обращался... ко всем.

– Но есть фонд репрессированных.

– Видимо, не для меня. Я теперь на вторых ролях. Сдохнем мы все здесь... сгнием.

Чтобы как-то развеселить его, я сказал:

– Свердлов рассказывал, как он уху тебе варил, а ты ее уплетал за милую душу.

– Себе варил. Даст тебе жиденыш, как же! Сварит и сам жрет. Я все думал, как отнять ее у него.

И опять – молчание.

– Придумал?

– Он сварит, начинает жрать. Я дам ему съесть полпорции, потом подойду, спрошу: «Не хочешь ли и мне дать пожрать?» Молчит. Тогда я плюю в его тарелку! Он уже есть не может, мне отдает, – Коба прыснул в усы. – Мы с ним по очереди посуду должны были мыть. Он вымоет, потом

моя очередь. Он пошел пройтись, приходит – тарелки блестят. Наливает себе ушицу, меня нахваливает: «Хорошо ты вымыл!» Я говорю: «Нет, я не мыл». – Здесь Коба оживился. – Не понял, Фудзи? – Он опять прыснул в усы. – Возьми на столе... – На столике у лампы стояла грязная тарелка с остатками еды. – Теперь поставь ее на пол...

Я поставил. Коба крикнул:

– Тишка! – И присвистнул.

Тотчас из-под кровати пулей вылетела маленькая дворняга. Все породы мира соединились в хитрой бестии – там была лайка, немецкая овчарка, по-моему, даже такса. Она приветственно вильнула хвостом и с ужасной скоростью загремела оловянной тарелкой. Вмиг зализала ее до блеска. И... уползла под кровать. Оттуда раздалось урчание.

– Я ему рассказал про собачку, и опять он есть не может. Снова я ем его ушицу. После этого он сам мыл тарелки каждый день. Да, с ним было неплохо. Теперь без него не каждый день приходится есть. В наше издательство «Просвещение» написал: «Нет ни гроша, запасы вышли, мои жалкие деньги ушли на теплую одежду...» Молчат. Ильичу написал, просил прислать «сапоги», – (новый паспорт для побега). – Долго не отвечал, оказалось, фамилию мою забыл... Я ему как раб служил, а он забыл. Потом, видать, напомнили ему мое имя, письмо прислал, обещал выслать «сапоги», помочь устроить побег. И... опять молчание! Я ему статью о национальном вопросе отослал. Товарищ Ленин раньше ценил,

когда инородец Коба переписывал в своих статьях его мудрые интернациональные мысли. А теперь ни слова в ответ. Забыли Кобу...

Замолчал.

Я сказал:

– Я привез тебе деньги, Коба. Родитель сжалился, помогает.

Он ответил равнодушно:

– Положи под лампу. – И, как обычно, даже не поблагодарил.

Помолчали. Сидеть с ним, молчащим, ох как трудно! Будто копится что-то тяжеленное на плечах твоих. Чтобы не молчать, решил прочесть ему любимые мои стихи из «Витязя в тигровой шкуре». Божественные стихи! Но в разгар моего восторженного чтения он... захрапел!

Я был в ярости! Заорал:

– Я уезжаю!

Тотчас проснулся. И равнодушно:

– Катись.

Уже в дверях я сказал ему:

– Но все равно надо жить. Давай вместе убежим. Здесь есть одна норвежская торговая компания, у нее свои суда. Хозяин социал-демократ, у меня рекомендательное письмо к нему.

– Убежишь отсюда, как же! У меня стражник – зверь, два раза на день проверяет. Однажды ночью проверять приду-

мал, разбудил! Хотел его выставить, выталкиваю из комнаты, едри его мать, так он мне шашкой руки изрезал! Да и зачем бежать? Чего хорошего нас ждет на свободе? – Он наконец повернулся ко мне. И только сейчас я увидел заросшее бородой, обожженное морозом красное, постаревшее лицо. – Ты хоть понимаешь, кто мы с тобой? Жалкие неудачники! В тридцать восемь лет все кричим: «Революцию сделаем, богачей уничтожим». А что уничтожили? Свою жизнь. Нам ведь под сорок... Жизнь, как говорится, уже «с ярмарки». Что у нас с тобою есть? Семья? Нету! Жена? Нету! Мы с тобой в партии, половина которой сидит по тюрьмам и ссылкам, остальные – по границам, в Парижах про Карлу Марлу спорят... Вот и все, чего я добился. В завершение моей «успешной» карьеры – *сдать ему меня разрешили*. Чего с Кобой церемониться!

Я изумился:

– Кто разрешил? Кому?!

Он посмотрел на меня больными глазами.

Не ответил, перевел разговор:

– Все вытерпеть можно – и мороз, и голод, и цепного пса-стражника. Но в этом проклятом краю природа скудна до безобразия, а я до смешного, до глупости тоскую по нашей родине...

Сколько я думал потом над этой странной, в гневе вырвавшейся у него фразой: «*Сдать ЕМУ разрешили... Чего с Кобой церемониться!*»

Кто это – он, которому разрешили «сдать» Кобу, я узнал после Революции. **Он** – некто Малиновский. Блестящий оратор, глава фракции большевиков в Государственной думе, знаменитый профсоюзный деятель, «русский Бебель», как его называл Ильич. Слух о том, что великолепный Малиновский – провокатор, появился задолго до вечера, где был арестован Коба. Но после того вечера окреп. Ведь никто, кроме Малиновского, не знал, что Коба придет туда.

И тогда Ленин на таком же бланке ЦК написал о Малиновском точно такую же отповедь, как в случае с Кобой: «Всякий, кто будет продолжать клеветать на Малиновского, будет немедленно исключен из партии...» Было объявлено, что слухи про Малиновского сеет полиция.

Однако после Февральской революции в Департаменте полиции обнаружили документы, неопровержимо доказавшие, что «русский Бебель» – обычный провокатор. Ильичу пришлось капитулировать.

Понял я загадку Малиновского много позже. Это было в ноябре 1946 года (когда я во второй раз вернулся из лагерей). В то утро слушал радио – была очередная годовщина Октября. Кто-то рассказывал, как партия накануне Революции боролась с провокаторами и как разоблачили Малиновского...

На следующий день я встретил в нашем Доме на набережной все того же Солнца. Несчастный в мое отсутствие, видно, стал совсем безумным, все время что-то писал на листочках. За ним неотрывно ходил наш «товарищ», который эти

листочки у него аккуратно отбирал. Сольц отдавал их ему с равнодушной улыбкой, как ребенок, наигравшийся игрушкой.

Я как раз вышел из лифта, когда в подъезд вошел Сольц, возвращавшийся с прогулки. Я поздоровался.

– Слышали это безобразие по радио? – спросил он и добавил безумно: – Разошлите немедленно радиogramмы: «Всем! Всем! Военная, вне очереди». Диктую текст: «Малиновский не провокатор...» Кстати, *ваш друг – тоже...*

– Товарищ Сольц, зайдите в лифт. – За ним тотчас вырос его постоянный спутник. Открыл кабину спустившегося лифта и попытался втолкнуть в него Сольца. Но тот яростно упирался.

– Я прошу вас, – крикнул он мне, и глаза его стали совсем сумасшедшими, – сообщите Обвинителю на Страшном суде: это было наше задание. Мы, *«тройка»*, им *разрешили – Ильич, Красин и я... мы это придумали!..*

Наконец его спутник молча и грубо затолкал старика в лифт. Уже оттуда Сольц как-то весело подмигнул мне. Я до сих пор думаю: был ли он и вправду безумный. Или это игра, как у принца Гамлета...

Но именно в тот миг я окончательно понял тайну Кобы.

Да, Малиновский и Коба были одной из многих секретных, великих ленинских игр. В то время полиция засылала провокаторов в наши ряды. Ильич вместе с «тройкой» придумал ответ. Отправить «наших» в их ряды. Коба и Мали-

новский были нашими «двойными агентами». И ситуацию с тайной полицией Коба использовал на сто процентов. Отсюда легкость, с которой он убегал из ссылок. Отсюда и успех многих наших эксков. Я уверен, Коба сообщил полиции, что мы нападём на экипаж с деньгами. Но главного не сообщил – *когда и где*.

С Малиновским – похожая история. Будучи тайным осведомителем, он получал от полиции свободу. И спокойно громил царизм в своих речах в Думе и статьях в «Правде». За это приходилось ему порой жертвовать типографиями и революционерами второго разряда. Но постепенно полиция начала понимать, что пользы от Малиновского куда меньше, чем вреда.

То же в случае с Кобой. Охранка окончательно разуверилась в нем, и ему пришлось перейти на *истинно* нелегальное положение. Прекратить экссы. Ильич подыскал ему новое занятие – организовывать выборы в Думу... В это же время разочаровалась полиция и в Малиновском. Но он и его «Правда» были очень нужны Ильичу. Малиновскому велели любыми средствами вернуть доверие полиции. Нужна была крупная жертва. Видимо, тогда решили отдать кого-то значительного, но более не нужного.

Коба идеально подходил для этого – член ЦК, руководитель дерзких эксков, живший на нелегальном положении. Да, Коба был незаменим, пока совершал экспроприации – источник вольготной жизни Ленина и эмигрантов за границей.

Но теперь он руководил рутинным делом – работой фракции. То есть выполнял полученные из-за границы указания Ленина. Это могли делать и другие. Малиновскому позволили выдать его полиции.

Все это конечно же понял и сам Коба, когда его арестовали. В тридцать семь лет его посчитали революционером второго разряда. Его, отдавшего партии жизнь! *«Разрешили... Чего с Кобой церемониться...»* Но он уже не мог так легко бежать из ссылки, полиция теперь была его врагом. Все эти обстоятельства перевернули окончательно душу моего несчастного друга. Когда-то он потерял веру в Бога. Теперь он потерял веру в другого бога – Ленина.

Я думаю, поэтому впоследствии Коба не трогал Солнца. Солнце единственный из членов «тройки» остался в живых. Только он мог подтвердить, что связи Кобы с полицией – ленинское задание. Солнцу верили. Старые большевики по-прежнему считали его совестью партии.

Что же касается Малиновского, то ему Коба отплатил. После Февральской революции Малиновский спасался за границей. Но каково же было общее изумление, когда после нашего Октябрьского переворота провокатор Малиновский... открыто вернулся в Петроград. Он, видимо, приехал за наградами, но его немедленно арестовали. Малиновский конечно же потребовал вызвать Ленина. Он не мог понять, что его история не красит новую власть. Короче, его поспешно перевезли в тюрьму в Москву.

В те дни я и Коба находились при Ильиче (об этом я еще расскажу подробнее).

Мы оба были в кабинете Ленина, когда пришел Дзержинский.

– Этот негодяй Малиновский требует, чтобы мы привезли его к вам, Владимир Ильич. Он упорно твердит: «Ленин все объяснит».

Ильич побледнел, и тогда Коба предложил:

– Владимир Ильич, позвольте мне разобраться с мерзавцем.

Ленин долго молчал, потом сказал:

– Разберитесь...

Коба вернулся при мне. Доложил Ильичу:

– Опоздал. Трибунал приговорил его к расстрелу и уже... Жаль. С удовольствием повесил бы его за яйца!

Мне рассказывали, будто на самом деле Коба успел. Он вошел в камеру Малиновского... А резолюцию о расстреле Малиновского революционный трибунал принял позже.

Это конечно легенда. Но я никогда не заговаривал с Кобой ни о туруханской ссылке, ни о Малиновском. Я был умный.

# Новый Коба

В Монастырском я прожил совсем недолго. Вскоре со мной связался тот самый капитан-швед, работавший в Заполярье на судне норвежско-русской пароходной компании. Он был социал-демократ и имел задание помогать бежать русским ссыльным революционерам. Он предложил мне свои услуги. Я договорился, что со мной, возможно, будет мой друг.

Я опять заплатил приставу и отправился в Курейку со стражником.

Приехали поздним вечером, в одиннадцатом часу. Комната Кобы оказалась закрытой.

Хозяйка сказала:

– Ваш гуляет! Известно где! У Перепрыгиных, – фамилию могу перепутать. – Он теперь там пропадает. У них там каждый божий день гулянка и праздник. Потому они и нищие. – И объяснила: – Это на самом краю деревни. Изба у них ветхая, чай, не пропустите...

На краю деревни стояла приземистая, вросшая в землю изба. Оттуда неслись звуки гармоники. Я входить сразу не стал, подошел к окну.

В окно я увидел Кобу. С яростным лицом, слипшимися волосами, он отплясывал какой-то невероятный танец... Потом отошел к стене и по-хозяйски обнял толстенную, бе-

ленькую совсем девочку. Он что-то шептал ей на ухо, она смеялась, потом они пошли прочь из комнаты... Я понимал – входить в избу сейчас не надо. Но я проехал двести километров! Поколебавшись, все-таки решился войти в темные сени. Призрачный свет бил через оконце. Согнувшись, она громко стонала в темноте... Сзади над ней навис Коба... И его бешеный шепот:

– Уйди, уйди, говорю!

Я вышел на улицу.

Но все же счел нужным его дождаться. Вернулся в его комнату.

Пришел он после полуночи, хмельной, веселый. Бежать со мной опять отказался:

– Буду ждать.

– Чего?

– У моря погоды! Отчего-то чую, она изменится. Стражник у меня уже поменялся. Хороший мужик, предупредительный, может, тоже... чует. Теперь могу делать, едри их мать, что хочу, – рыбачить, охотится. На днях он меня к вам в Монастырское повезет. Книжек наберу, соскучился по книгам.

Я понял: лежащий лицом к стене, обреченный Коба – это было представление. Он просто хотел, чтоб я давал ему деньги.

Но новый Коба, ненавидящий обманувший его мир, был правдой...

Уже после моего побега Коба переехал к Перепрыгиным – в пристройку...

Потом я слышал, что в Курейке у него родился сын от той девицы... Нищая изба Перепрыгиных не дожила – развалилась. А вот та, первая изба на самом берегу реки, в которой я его навещал, сохранилась. Через тридцать с небольшим лет над ней был воздвигнут великолепный павильон. Рядом с ним бронзовый молодой Коба смотрел на свое жалкое прошлое.

Его дьявольская интуиция! Уже в мое отсутствие ситуация начала стремительно меняться. Жестокие поражения русской армии вызывали ужас, отчаяние по всей стране. Но у нас, ссыльных только счастливые улыбки. Это было наше, партийное: «Чем хуже в стране, тем лучше для дела Революции». Вскоре даже здесь, на краю света появились калекки, мрачные, усталые, привыкшие убивать и отвыкшие работать. Но Молох требовал новых жертв. Началась мобилизация в армию среди ссыльных. Каменеву, Муралову и прочим большевикам службу в армии не доверили, но Кобу призвали. Думаю, здесь, на его беду, сыграли роль его былые отношения с полицией.

Везли его через Монастырское. Вышли встречать все сидевшие большевики. Он сказал, прощаясь, Каменеву:

– Не поминайте лихом. Чую, с фронта не вернусь!

Повезли моего друга по реке, потом по бесконечной тундре. Как он потом сам рассказывал, везли полтора месяца.

ца. В самом конце 1916 года, измученного, полузамерзшего, привезли в Красноярск на медицинскую комиссию. Но его спасла от армии высохшая рука.

Будущего генералиссимуса и Верховного главнокомандующего самой могущественной в мире армии признали негодным к военной службе.

# Толстяк посылает апостолов

В это время я прибыл в Европу. Мой побег и путешествие по России с фальшивыми паспортами – длинная эпопея, ее пропускаю.

Я очутился в тихой Швеции, в мирном, уютном Стокгольме.

Здесь меня встретили. Оказалось, помогли не только мне. В это же время из множества ссылок было организовано бегство членов русских революционных партий. За всеми этими удачными побегам, как оказалось, стоял один человек...

Два дня я отдыхал в крохотной гостинице рядом с чудесным парком. На третий день меня привезли в Старый город. На Торговой площади, где когда-то казнили, стояли два здания XVII века. В одном из них располагалось маленькое кафе.

В этом набитом до отказа кафе было тесно и шумно. Нас собралось человек тридцать. Я с изумлением понял, что все собравшиеся говорят по-русски!..

Вошла огромная, потная, жирная глыба, переваливавшаяся на коротких ножках. Толстый, трудно дышащий человек с висящим подбородком тяжело плюхнулся на стул. И тотчас впился глазками-буравчиками в аудиторию... Я запомнил его лицо, обрамленное черными волосами и бородой,

крохотный нос, придававший ему какое-то детское выражение. На вид мужчине было лет пятьдесят...

Все затихло. Он заговорил по-русски:

– Вы не знакомы друг с другом. Но у вас одна судьба. Вам всем помогли бежать из ссылок и русских тюрем. Вас посадили в тюрьму или отправили в ссылку в мире, охваченном жадной людей убивать друг друга. Сегодня вы освободились в совсем ином мире. За два года войны и крови в вашей стране и в Европе накопились страшная усталость, апатия и ненависть к войне. Все утомилось, обветшало. Вы увидите когда-то образцовые немецкие санитарные поезда. По грязи и ужасу они теперь сравнялись с русскими. Идет кровавый поток раненых с человеческой бойни, называемой фронтами. Под эти поезда отдаются теперь товарные вагоны, где стонущие, умирающие люди лежат на нарах с соломой. Между нарами обычно бегают одинокий врач и священник. Все пропитано запахом человеческих испражнений и йодоформа. Великие княгини и эрцгерцогини, навещавшие прежде раненых, остались на фотографиях. Вы увидите лагеря военнопленных, охраняемые старыми солдатами. Все молодые посланы умирать на фронт. Из этих лагерей легко бежать военнопленным. Но мало кто бежит, люди не хотят вновь попасть на фронт... Газеты продолжают славить войну и пишут о подвигах в обеих армиях. На самом деле войну ненавидят и тут и там... Однако это уже не прежняя ненависть к врагу, но новая – к тем, кто послал воевать. Ваша задача – по-

догревать эту ненависть. Запрещенными книгами, личными беседами. Нынешний мир готов к огню великой и очистительной Революции. Ваше дело – изо дня в день разжигать костер! Призывайте солдат повернуть штыки против своих угнетателей!..

Выступавшего звали Парвус.

Был такой анекдот. Человек приехал в Палестину, но так сложилось, что пробыл он там всего один день. Его спрашивают о впечатлениях. Он говорит: «Их очень много. Я встретился с евреем, сумевшим сделать огромные деньги, и я видел еврея, мечтавшего разрушить мир денег, я видел еврея, готового погибнуть за счастье трудового народа, и я видел еврея, беспощадно эксплуатировавшего трудовой народ...» – «И ты сумел их всех повидать за один день?» – «Это оказалось нетрудно, потому что это был один человек».

Таков был и Парвус. Еврей, родившийся в России в еврейском местечке в черте оседлости, притом ненавидевший свою родину. Урод и... Дон Жуан, помешанный на женщинах. Миллионер, мечтавший... обрушить мир богатых, раздуть мировой пожар Революций! В десятые годы мы все зачитывались его статьями в «Русской газете». Он писал их вместе с Троцким – я уж не помню, кто из них сказал об этом союзе: «Мы были тогда, как две струны на арфе Революции». В 1905 году, пока я прозябал в эмиграции, Парвус делал нашу Революцию. Вместе с Троцким руководил легендарным первым Советом рабочих депутатов. Арестован, сидел в Пет-

ропавловской крепости, отправился в ссылку, по дороге бежал, потом очутился в Германии... Приехал к немцам революционной знаменитостью. Но в Германии с ним случилась какая-то темная история. (Впоследствии я узнал подробности. Наш знаменитый пролетарский писатель (Горький), живший тогда в эмиграции, поручил ему собирать деньги, причитающиеся за постановку его пьесы «На дне». Пьеса шла тогда во множестве европейских театров. Сам Горький согласился только на пятую часть от доходов. Остальные средства Певец Пролетариата благородно отдавал немецкой социал-демократии. Но никто ничего не получил. Как издевательски невозмутимо объяснил потом Парвус: «Все потратил на путешествие в Италию с одной барышней». Думаю, солгал, попросту говоря нашим революционным языком, «экспроприировал», забрал деньги у богатого писателя. Разбирательство товарищей по партии было тайным... Как он и предполагал, социал-демократы не посмели сделать гласной историю кражи столь известным революционером-марксистом.) Но тогда я знал о нем лишь то, что знали все: он эмигрировал в Турцию, здесь составил огромное состояние. И теперь тратит его на мировую революцию...

В дальнейшем он вновь возникнет в моем повествовании.

Меня, в совершенстве владеющего немецким, он послал в Австро-Венгрию, в славянские части австрийской армии, призывать их к братанию и бунту. Все это время я курсировал между Стокгольмом и Будапештом, и все это время

Парвус присылал мне инструкции.

Про Кобу я тогда забыл. В январе 1917 года я был вновь вызван в Стокгольм. В том же кафе собрались революционеры из радикальных партий – в основном эсеры и анархисты. Были несколько меньшевиков, большевиков представлял я один. И опять перед нами выступил Толстяк (как мы называли между собой Парвуса).

Сначала он прочел нам вслух... секретные донесения Департамента полиции царю! В них Николая предупреждали о наступающей катастрофе: «Озлобление растет... Стихийные выступления народных масс... – угрожающе читал Парвус, – явятся началом самой ужасной из всех анархической революций, бессмысленной и беспощадной...»

Я был потрясен, не знаю, чем больше – текстом или тем, что этот фантастический человек держал в руках сверхсекретный документ русской спецслужбы.

Но далее пришлось изумляться больше. Он сообщил нам о заговорах в самой царской семье и в Думе. Он знал и об этом!

– Они решили сместить «сумасшедшего шофера». Так они теперь называют царя, который везет страну в пропасть... Недавно тифлисский городской голова от имени пятнадцати членов царской семьи предложил великому князю Николаю Николаевичу произвести переворот и провозгласить себя царем. Сменой царя они хотят помешать грядущей Революции. Нашей Революции. К счастью, великий

князь отказался, но нам надо спешить. Восстание должно начаться раньше, чем они успеют совершить дворцовый переворот и замирить страну! Поторопимся!..

Я до сих пор не знаю, он ли организовывал волнения в Петрограде. Однако в конце своей речи он нам объявил:

– Вы все выезжаете в Россию к своим партиям. Я посылаю вас, как Христос послал в мир апостолов. Вы апостолы Мировой Революции. Идите в мир, проповедуйте и разожгите мировой пожар!..

Как большевик я был послан в Петроград – связаться с большевиками. Эсеры и меньшевики получили задание связаться со своими партиями.

Февральскую революцию я встретил в Петрограде. События, изложенные здесь, запомнились мне отрывочно. Советую вам проверять их последовательность.

# Революция

Помню точно, что в двадцатых числах февраля я шел по Невскому, не зная, что в последний раз вижу этот исчезнувший нынче мир. Вскоре закроются мои глаза, и уйдет навсегда та картинка...

Февральский снег с дождем. Пробирает до костей ветер с Невы. Ненавистный город императоров. Атлантида несравненной красоты, которую мы мечтали отправить на дно. Чужой, по виду иностранный город: немецкая прямизна проспектов, на Александровой колонне у царского дворца ангел обнимает католический крест... В шинели, небрежно брошенной на плечи, промчался в коляске кавалергард. В изящном ландо проезжает дама в вуали. Огромная шляпа с цветами, как корабль, плывет над толпой; откинувшись на сиденье, дама в лорнетку осматривает публику. Околоточные появились на улице, дворники вышли за ворота – прежде это значило, что вскоре проедет царь... Но теперь царь на фронте. Скорее всего проедет всемогущий министр Протопопов. Вся сила которого исчезнет в эти три дня... вместе с трехсотлетней империей.

Но пока в Летнем саду еще гуляют степенные бонны с детьми. Статуи античных богов заключены в ящики, оберегающие их от зимней непогоды, стоят меж голых деревьев... Спокойный, размеренный, сонный дневной мир столицы ве-

ликой державы... Будто нет никакой войны, будто не погибают в эти минуты под пулями вопящие «ура» люди...

Мы должны были взорвать трехсотлетний российский мир.

Как только царь уехал в Ставку, в столице начались перебои с хлебом. По чьей-то команде на окраинах стали собираться недовольные толпы. Вскоре они хлынули в центр города. Сперва шли по тротуарам, заунывно выкрикивая: «Хлеба! Хлеба!» Потом вышли на мостовые... Огромные, все растущие толпы. И в них обязательно были мы, посланцы Парвуса, как правило, эсеры или меньшевики. (Большевиков в столице в это время – раз, два и обчелся. Верхушка партии – Ленин и прочие лидеры – в эмиграции в Швейцарии, остальные – по тюрьмам и ссылкам.) Объясняем, призываем «прогнать кровавого царя». К нам присоединяются студенты. И вот уже над толпой поднимаются откуда-то взявшиеся транспаранты: «Долой войну! Долой самодержавие!»

Теперь во всех митингующих толпах обязательные ораторы – студент, курсистка и мы, посланцы Толстяка! На нас – на митингующую толпу – как-то устало, явно нехотя, наезжают казаки, разгоняют. Люди разбегаются по маленьким улочкам, и казаки... уезжают! Тотчас толпы собираются вновь.

Как я уже говорил, всего год с небольшим назад Ильич заявил: «Нам, нынешнему поколению революционеров, не увидеть Революции в России». И вот в Петроград приехал посланец от Ленина. Передал мне удивительное письмо. Ле-

нин писал, что вскоре ожидается Революция! «Восстанет Петроградский гарнизон. Гарнизон состоит из выздоравливающих раненых и проходящих военное обучение резервистов, то есть сынков влиятельных людей, укрывшихся от фронта. Вся эта публика готова на все, только бы не идти на фронт. Восстание солдат в провинции – это бунт, восстание в столице – Революция. Ваша задача: незамедлительно связаться с нашими петроградскими большевиками. Действуйте и еще раз действуйте! В 1905 году мы проспали Революцию, на этот раз мы этого не допустим».

Но «наших» пришлось искать. Петроградские большевики по-прежнему скрывались в подполье и очень осторожничали. С большим трудом согласились встретиться со мной днем в Александринском театре, где билетером работал весьма редкий в столице большевик.

В те дни в Александринском шли генеральные репетиции пьесы Лермонтова «Маскарад». «Маскарад» – мистическая пьеса. В 1941 году, в день объявления войны, ожидалась ее премьера в Москве... И тогда, в конце февраля 1917 года, в дни гибели Империи, готовилась ее премьера в Петрограде...

«Наш» билетер провел меня в пустое фойе – репетиция уже началась.

Там ждал меня представитель той самой кучки петроградских большевиков. Невысокий, приятный, аккуратненький, в пенсне. Увидев меня, он оторопел и воскликнул:

– Коба?! – Но тут же понял: ошибся. Сказал с усмешкой: – Вы с ним похожи.

Оказалось, они были с Кобой вместе в одной из ссылок.

Так я познакомился с Вячеславом Молотовым. (Молотов – партийная кличка, его настоящую фамилию – Скрябин – я узнал после революции.)

Он повел меня на нелегальную квартиру знакомиться с остальными большевиками.

Перед тем как уйти, я решил хоть глазком поглядеть на спектакль, уж очень много ходило о нем слухов. Попросил «нашего» билетера, он тихонечко приоткрыл дверь в ложу, я встал за портьерой. Ложи и зал были переполнены, шла генеральная репетиция. Декорация ошеломила! Гигантские зеркала, золоченые двери, люстры – водопады хрусталя! Это была декорация мира, который там, на улице, уходил в небытие...

Я вернулся в фойе. Молотов встретил меня насмешливой улыбкой: такие глупости, как театральные спектакль, его тогда не интересовали.

Мы вышли на Невский. Был разгар дня. Все те же толпы беспорядочно двигались по улицам.

Молотов шел впереди, я – за ним, проверяя, чтоб за нами не было хвоста.

Квартира оказалась на Кронверкском. Как и положено, вход в подпольную квартиру был до предела запутан. С переулками вошли в здание городской биржи труда, потом проби-

рались через какую-то лавку, затем поднялись по пыльной, сто лет не убиравшейся лестнице. Далее открылась анфилада комнат, почему-то уставленных пустыми столами. В конце анфилады пряталась крохотная дверца – входить, точнее, заползть в нее пришлось пригнувшись.

Здесь в двух комнатухах ютился Петроградский комитет партии большевиков. Шло совещание главных сил нашей недобитой партии. Двое весьма непрезентабельного вида молодых людей сидели за дощатым столом президиума, украшенным всевозможными чернильными кляксами и длинной надписью «Карл Маркс, Фридрих Энгельс и Лассаль».

Это и были руководители петроградцев – Шляпников и Залуцкий. Аккуратненький Молотов тотчас подсел к ним за стол – в президиум заседания. Главным в тройке явно был Шляпников.

Он уже посидел в тюрьмах, пожил в эмиграции, являлся, кажется, членом Французской социалистической партии. Единственный из тройки он знал европейские языки. Однако по-русски говорил с простонародным волжским акцентом. По виду – типичный рабочий, носил, как Молотов, кофеворотку и пышные усы мастерового.

Он важно пригласил меня подсесть к ним. Я сел за стол.

Напротив нас на стульях и подоконнике разместились десятка полтора человек – весь оставшийся на свободе актив партии.

Сразу перешли к обсуждению плана действий. Я прочел

письмо Ильича, но обговорить его не успели. Помню, вбежал человек, выкрикнул:

– Товарищи! Павловский полк восстал! – Торопливо начал объяснять: – Гвардейцам приказали разогнать демонстрацию, они отказались!

Но его уже не слушали. Восстали солдаты! Мать родная, да это же она – Революция! Все опрометью бросились на улицу, орали «ура!».

Мы добежали до Конюшенной площади.

Там, окруженная гвардейцами-преображенцами, стояла толпа гвардейцев-павловцев. В Павловский гвардейский полк по традиции должны были набираться курносые, малорослые, похожие на императора Павла мужчины, в отличие от Преображенского полка, куда со времен Петра брали только рослых и прямоносых. Но все это было прежде.

Теперь резервистов набрали с бору по сосенке, и там и тут встречались курносые и прямоносые, маленькие и высокие. Но дух безумного императора остался в Павловском полку. Волнения начались у них первых.

Офицер-преображенец вяло уговаривал толпу павловцев вернуться в казармы, уныло грозил расправой.

Испуганные, очумелые солдатские лица. Но в казарму не идут. Топчутся, выкрикивают:

– Мы за свободу. Нет у вас, ваше благородие, такого разрешения, чтоб в народ стрелять! Не хотим!

Вокруг уже собралась огромная толпа зевак. Из толпы я

услышал:

– За священником послали «к Пушкину»... Чтоб усоветил.

(Совсем рядом была церковь, где отпевали убитого Пушкина.)

Я подумал: сейчас батюшка придет, уговорит разойтись. И потеряем такое!

Но повезло. В этот самый решительный момент подлетел в коляске полковой начальник – полковник. Стал лицом к павловцам. И матерком их! Заорал:

– Я вам покажу, как бунтовать, мерзавцы, так вас разэтак! – И опять матерком.

Я его лица не увидел. Помню только голову в фуражке и шею, толстую, баранью. И голос зычный. Как же он разорядся!..

Вижу, начали колебаться павловцы. Глаза в землю уперли.

Понял: вот он, самый решительный миг. Револьвер (браунинг) рывком из кармана. Из-за спин, не целясь, пальнул в полковничью голову...

Вздых толпы... Исчезла шея.

Восторженное лицо Шляпникова и спокойное, невозмутимое – Молотова...

Могли, конечно, тотчас меня схватить. Я уж приготовился пробивать револьвером дорогу. Ан нет!

Шляпников:

– Беги!

Подхватили, зашептали в толпе:

– Беги, товарищ!

И я дал стрекача оттуда! Бежал и уже не сомневался: теперь они дело продолжают. С испугу продолжают.

Рассказывал Шляпников: когда я сбежал, пришел священник «от Пушкина». Начал уговаривать разойтись. Да поздно. Солдатики знали – убийство полкового теперь на них. Отступать некуда. И продолжили. Вечная сладкая зараза русского бунта...

Вскоре к павловцам присоединились запасные полки – Волынский, Литовский и... Преображенский! Гуляй, резервисты! Куда лучше, чем на фронт – умирать. Уже к вечеру двадцать седьмого весь стотысячный петербургский гарнизон был на стороне Революции. Город оказался в руках восставших. До смерти не забуду: Невский проспект, и по нему – по мостовой – идет толпа в полсотни тысяч человек. Кто и как ее собрал?! Никто не знает. Толпа затопила всю проезжую часть и тротуары, громыхала «Марсельезой». Вмиг стала вся красная – от бантов, флагов и повязок на рукавах.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.